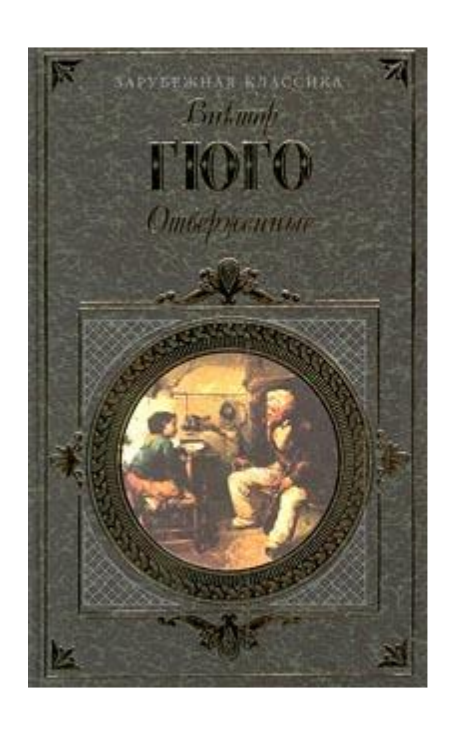
Гюго Виктор

Отверженные. Том II



Том II

Часть III
«Мариус»
Книга первая
Париж, изучаемый по его атому
Глава первая.
Parvulus[1]

У Парижа есть ребенок, а у леса – птица; птица зовется воробьем, ребенок – гаменом.

Сочетайте оба эти понятия – печь огненную и утреннюю зарю, дайте обеим этим искрам – Парижу и детству – столкнуться, – возникнет маленькое существо. Homuncio[2], сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не каждый день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то выискивает, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это

потому, что в душе у него жемчужина – невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.

Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» – он ответил бы: «Мое дитя».

Глава вторая.
Некоторые отличительные его признаки

Парижский гамен – это карлик при великане. Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожную пошлину за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти необычные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.

Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси – сено», «черт» – черное насекомое, которое угрожающе вертит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей – но это не ящерица, на спине бородавки – но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями – удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие – быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится своими интересными находками. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся уховертки, близ Пантеона – тысяченожки, во рвах Марсова поля – головастики.

«Словечек» у этого ребенка не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но он порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника диким хохотом. Он легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника – доктор. «Гляди-ка! – кричит гамен. – С каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина с очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй! Как ты посмел завладеть талией моей жены?» – «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

Глава третья.
Он не лишен привлекательности

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, homuncio отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тюти»[3]. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тюти. Между тюти и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое – и вы получите гамена.

Гамен не лишен художественного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен не очень академичен. Так, например, мадмуазель Марс пользовалась у этих юных, буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадмуазель Шептунья».

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюр – люретой»; поет на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает; он спартанец даже в мошенничестве, безумец даже в благоразумии, лирик даже в сквернословии. С него сталось бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вываляться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен – это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко бывает удивлен, еще реже – испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; вовсе нет! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантасмагории. Предстань перед ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»

Глава четвертая.
Он может быть полезным

Париж начинается зевакой и кончается гаменом – двумя существами, каких неспособен породить никакой другой город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака – воплощение монархического начала. Гамен – анархического.

Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и человеческих дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазеет, разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут – и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, currit rota[4], и дух Парижа, этот демон, создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

Глава пятая.
Границы его владений

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит и уединение. Urbis amator[5], как Фуск; ruris amator[6], как Гораций.

Задумчиво бродить, то есть прогуливаться прогулки ради, – самое подходящее времяпровождение для философа. В особенности бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобычной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины – все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям – начало крышам, конец траве – начало мостовой, конец полям – начало лавкам, конец мирному житью – начало страстям, конец божественному шепоту – начало людскому говору, – вот что придает окраинам особый интерес.

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклейменные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий эти строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами; это оставило неизгладимый след в его памяти. Подстриженный газон, каменистые тропинки, меловая, мергелевая или гипсовая почва, суровое однообразие лежащих под паром или невозделанных полей, огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, смесь дикости с домовитостью, обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, – все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон – Сури, Томб – Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах – значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божий. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся и голос природы и голос человека, Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это – дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье – их стихия. Они пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно исполняют они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегдатаи предместья, вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, играют в камушки, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда среди мальчиков попадаются и девочки – их сестры, быть может? – почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами,

веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж – центр, его предместья – окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них начинается пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази – ле – Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Наузиле – Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес – этим кончается вселенная.

Глава шестая.
Немножко истории

В эпоху, когда происходят описываемые в нашей книге события, кстати сказать, почти нам современную, – на углу каждой улицы не стоял, как ныне, постовой (принесло ли это пользу – об этом здесь не время распространяться), и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных явствует, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается – мы на этом настаиваем – внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций; как в водах океана – соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение: «быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества входило в интересы высших сфер и было на руку власть имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» – это стало требованием дня. А детское невежество логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, – по желанию короля, и желанию весьма разумному, – было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немыслим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, не Существует судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут обойтись без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией – гугенотская повадка! – его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, – его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно ярко-алого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью… Кого? Полицейских? Нет, отцов!

Глава седьмая.
Гамены могли бы образовать индийскую касту

Парижские гамены – это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ.

Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа Клод Ге. Разразился скандал. Но слово привилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что видел, как человек упал с колокольни Собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов и «стибрить» там малую толику свинца. Третий – потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один – потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена – глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: «Господи боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!» (причем мне произносилось, как мине, а этаж, как етаж).

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» – «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать самосильно». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное выражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! – негодующе восклицает дитя Парижа. – Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях – его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т д. Чтобы ничего не упустить

из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен – прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес – самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слыхал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой имел вид в свой последний час, сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль – в меховой фуражке, Лувель – в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Будет вам делить вашу корзину!» – крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм! – просит гамен и, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: – Я не свалюсь». – «А мне-то что, свалишься ты или нет», – отвечает жандарм.

Большое значение придают гамены несчастным случаям. Наивысший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза – весьма ценным качеством.

Глава восьмая,
в которой идет речь об одной милой шутке последнего короля

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с угольной баржи или мостков, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, в нем слышится античное «Эвоэ!» Вот этот клич: «Гэй, тюти, ге – эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»

Кое-кто из этой мошкары, как они сами себя называют, умеет читать, кое-кто – писать, но рисовать, с грехом пополам, умеют все. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи – Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома э 69. «Зачем ты это делаешь?» – спросил его прохожий. «Здесь живет поп», – ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в га мене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае поступить в церковный хор, и тогда он

добросовестно исполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, – низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.

Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки отрапортует вам: «Вот этот – ябеда; этот – злюка; этот – задавака; этот – сущая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора – имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши», и т. д. и т. д.

Глава девятая.
Древний дух Галлии

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена – сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство – разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как вину – алкоголь, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церквей Сен-Жанде-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А усвоив привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но у него прекрасные глаза – потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг – и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой, барабанщик Бара был парижским гаменом. Как конь Священного писания подает голос «Гу-гу!», так он кричит: «Вперед!», и мальчонка мгновенно вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.

Итак, делаем вывод: гамен – существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

Глава десятая.
Ecce paris, ecce homo[7]

А теперь сделаем еще один вывод: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский graeculus[8]. Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

Гамен – краса нации и вместе с тем – ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

Учение оздоровляет.

Учение просвещает.

Источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей! Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас! Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской передовой мысли решать, на ком остановить выбор: на истинном сыне Франции или на гамене Парижа; на ярком пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен – олицетворение Парижа, а Париж – олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ. Париж – мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах – небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий – городская ратуша, свой Парфенон – Собор Парижской Богоматери, свой Авентинский холм – Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий – Сорбонна, свой Пантеон – тоже Пантеон, своя Священная дорога – бульвар Итальянцев, своя Башня ветров – общественное мнение. И он не сбрасывает с Гемоний – он отдает на посмешище. Его majo[9] зовется хлыщом, транстеверинец – жителем предместья, hammal[10] – крючником, ладзарони – мазуриком, кокней – фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику эврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройтись под ручку с гренадером Вадебонкером; антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; если Куртилусу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру – такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапецию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д'Эгрфэйль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей – Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа – в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была непреклонной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Феспириона: Quis properantem me prehendit pallio?[11]; сюренское вино – подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина; купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп – Майе, своя Канидия – девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона – верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок, – он возводит на него гризеток; в конце концов если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера Конституционалиста, он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem cbliuisci[12], – говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж – добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера – из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник – будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие – эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль – не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила – девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид д'Анже, Бальзак и Шарле сиживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Здесь блещут гении и процветают шуты. Здесь на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай, и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен – читай Рампоно.

Париж – синоним космоса. Париж – это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь частично представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину – значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна, Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

Глава одиннадцатая.
Глумясь, властвовать

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» – воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее – моду; и еще нечто большее, чем мода, – он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым; он разрешает себе иногда такую роскошь, и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза, восклицает: «Ну не дурак ли я!» – и разражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственно веселый характер. В его забавах – молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливает землю. Его буффонады сыплются искрами. Он навязывает народам и свои нелепости и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риего, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году он в Бостоне, в 1820-на острове Леоне, в 1848-в Пеште, в 1860-в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль Свобода и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс – Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Кирогу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо – он трибуна, под ногами Робеспьера – кратер вулкана; его

книги, его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан – Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков – Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколений; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать; исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевиль – вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.

Таков Париж. Дымки над его крышами – идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего – существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что он смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, – надо было, чтобы Дантон дерзнул.

Смелее! Этот призыв – тот же Fiat lux[13]. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Чудеса храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться – вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.

Глава двенадцатая.
Будущее, таящееся в народе

Парижское простонародье и в зрелом возрасте остается гаменом. Дать изображение ребенка – значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени, – мы на этом настаиваем, – можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает; а в страданиях и в труде и выявляются два истинных человеческих лика. Тут, в несметной толпе никому неведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, от грузчика с Винной пристани и до живодера с монфоконской свалки. Fex urbis[14], – восклицает Цицерон; mob[15], – добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь – эти слова произносятся с легким сердцем. Пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны. Так что же? Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Неужели воспользуетесь их несчастьем? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению? Не устанем твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может, эта тьма и рассеется. Разве революции не несут преображения? Слушайте меня, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание; бодрые духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же извлечь пользу из той неукротимой бури, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и нравственное чувство людей. Босые ноги, голые руки, лохмотья, невежество, униженность и

темнота – все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

Глава тринадцатая.
Маленький Гаврош

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д'О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который был бы очень похож на нарисованный нами портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как все в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Мальчик был в мужских брюках, но не в отцовских, и в женской кофте, но не в материнской. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были родители. Но отец не желал его знать, а мать не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.

Лучше всего он чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он беспрекословно повиновался. Это был шумливый, бойкий, смышленый, задорный мальчик, живой, но болезненного вида, с бледным лицом. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавах, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был жизнерадостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего общественного порядка и размалываются им. Но пока они дети, пока они малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен – Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил – куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50—52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга э 50—52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась – редкий случай! – заселенной личностями, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, который начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, ее сменила такая же. Кто-то из философов, – не помню, кто именно, – сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон; в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живших в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех человек: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.

На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Вскоре после своего водворения, живо напоминавшего, по достопамятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, исполняла обязанности

привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте – это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел лишь нищету и уныние и – что еще печальнее – не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, его спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его. «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему его называли Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему его отца называли Жондретом.

Инстинктивное стремление порвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим семьям.

Комната в лачуге Горбо, где жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой г-н Мариус.

Книга вторая
Важный буржуа
Глава первая.
Девяносто лет и тридцать два зуба

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка Жильнормана. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, прилегающих к Тамплю, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик – в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, по сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что больше девяти лет тому назад решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он уже не мог нравиться. Однако он прибавлял к этому не «Потому что слишком стар», а «Потому что слишком беден». «Не разорись я… ого – го!» – говорил он. Он и в самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человек неглубокий, порывистый и

очень вспыльчивый. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части – будучи неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!». Одним из излюбленнейших его ругательств было: «Эх вы, пентюхи, перепентюхи.!» Вместе с тем ему была присуща изумительная невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Жильнорман очень высоко ставил свое уменье судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я уже догадываюсь, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Впрочем, он не вкладывал в это последнее слово такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему ввернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, – говаривал он, – желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но только в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка – это домашний тигр, ящерица – карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы – те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то – о волшебницы! – вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Караибы оставляют одни кости, они – одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

Глава вторая.
По хозяину и дом

Он жил в квартале Маре на улице Сестер страстей Христовых в доме э 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими сцены из пастушеской жизни; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат Жильнормана, попадали через угловую стеклянную дверь, по лестнице в двенадцать-пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар – предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны – взбалмошной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, отчасти судейского, а судейским он мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности принадлежал к числу мужчин, которых постоянно обманывают жены и никогда не обманывают любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был не только костюмом эпохи Людовика XV, но и даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, – до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого

сукна, с широкими отворотами, с длиннейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами, короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и с авторитетным видом утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

Глава третья.
Лука-разумник

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезрелыми красавицами – Камарго и Сале. Оказавшись между двух огней, он храбро ретировался, направив стопы к маленькой, никому неведомой танцовщице Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, – восклицал он, – когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах „неувядаемые чувства“, в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой „волнение“!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил в юные годы. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», – говорил он. Когда ему было двадцать лет, он попался на глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, – говорил он, – Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: „Господин Жильнорман, министр! Вот была бы потеха! Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!“ Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха перифраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

Глава четвертая.
Претендент на столетний возраст

В детстве он не раз удостаивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов – ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! – рассказывал он. – И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах Жильнормана Екатерина II искупила раздел Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся – «Золотой эликсир, – восклицал он, – пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель генерала Ламота – стоил в восемнадцатом веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик Пятнадцатый послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир есть не что иное, как хлористое железо. Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; он готов был без конца рассказывать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что чуть не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды

пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

Глава пятая.
Баск и Николетта

У него были свои теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус начнет ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, вертеть нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить делами, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает – это составляет особое и главное ее счастье – глупость за глупостью и таким образом развлекается. Супруг пренебрегает ею, а она находит себе утешение в том, что разоряет его». Жильнорман испытал эту теорию на себе, и с ним произошло все как по – писаному. Вторая его жена столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежавшую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всякие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это – лавочка», – говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей Христовых, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой, толстяк лет пятидесяти пяти, с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, Жильнорман именовал его Баском. Все служанки именовались у него Николеттами (даже Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» – спросил ее Жильнорман. «Тридцать франков». – «А как вас зовут?» – «Олимпия». – «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться будешь Николеттой».

Глава шестая,
в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками

У Жильнормана горе выражалось в гневе: огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он говорил, что это делает ему «великую честь». Но эта «великая честь» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему в продолговатой корзине, напоминавшей корзину для устриц, принесли запеленатого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном.

Жильнорману было в ту пору, ни много ни мало, восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения у окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто ей поверит? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам Жильнорман не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал, как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы рехнулись, мелете вздор, вы невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; Виржиналю, маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен – истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века – аббат Табаро – сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А засим объявляю, что сударик этот не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, – звали ее Маньон, – прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, – добавил он, – что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду «Я потерял его, когда он был еще молодым», – говорил Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был человек безобидный, но скупой; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню нищим, но подавал только изъятые из употребления монероны да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фу, какая топорная работа! – презрительно воскликнул он. – Такое жалкое жульничество вызывает у меня чувство стыда. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать таких людей, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. Sylvae sint consule dignae!.[16]

Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах; от второго – тоже дочь, умершая лет тридцати; то ли по любви, то ли случайно, то ли по какой-либо иной причине она вышла замуж за бывшего рядового, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это позор моей семьи», – говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти не верил.

Глава седьмая.
Правило: принимай у себя только по вечерам

Вот каков был Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил волосы, – они у него были не седые, а с проседью, – и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.

Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

В первые годы Реставрации Жильнорман, тогда еще молодой, – в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, – жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Маре много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и только тут двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, – говаривал он, – и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

Глава восьмая.

Две, но не пара

Мы уже упоминали о двух дочерях Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и характером и лицом; про них никак нельзя было сказать, что это сестры. Младшую – девушку чудесной души – влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, снабжавший провиантом армию, муж восхитительно глупый, человек – миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она – «супруга г-на префекта» – все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной – ангела, а у другой – гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Нынче рай на земле невозможен. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая замуж не вышла.

К моменту ее появления в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, удивительно остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадмуазель Жильнорман-старшая».

По части чопорности мадмуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что ее шемизетка недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею Она усеивала бесконечным количеством застежек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы все недотроги: чем меньше их твердыне угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность.

Однако пусть объяснит, кто может, тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатному племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М – ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой – полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством – сочетание очень удачное. Она состояла членом Общества Пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывшим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как она сама, – м-ль Вобуа, круглая дура; сравнивая себя с ней, м-ль Жильнорман не без удовольствия отмечала, что она сама – первейшая умница. Кроме всяких Agnus dei и Ave Maria и разных способов варки

варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностай – белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м – ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротою, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то смутная печаль, причины которой она не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню его сестра. Семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним строго, а иногда замахивался тростью: «Пожалуйте сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.

Книга третья

Дед и внук

Глава первая.

Старинный салон

Когда Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем самых избранных аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, Жильнормана принимали всюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, своим собственным умом, а во-вторых – умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а его самого окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбуждать к себе интерес; если им не удается играть роль оракулов, они переходят на роли забавников. Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.

Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., увлекавшийся животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десятитомную рукопись прелюбопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, чересчур «смешанное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Два раза в неделю у ее вдовьего камелька собирались друзья, – это был роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то громко возмущались современными порядками, хартией, бонапартистами, осквернением голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинством» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.

Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался Простофилей. Герцогини, изящные и очаровательные светские женщины, восхищались куплетами по адресу «федератов»:

Эй ты, засунь в штаны рубаху!

Ведь скажут про тебя, дурак,

Что санкюлоты все со страху

Уж поднимают белый флаг!

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены стихи:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,

Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалось смешно.

В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную Ca ira:

Ах, дела пойдут на лад!

Буонапартистов на фонарь!

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса, здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями», – это звучало как наивысшее оскорбление.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим – граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрение, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субиз. Несмотря на… Нет, именно поэтому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет – тот же Олимп. Меркурий и принц де Гемене чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных скрещенных ног в обвисших панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С графом де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и – как ни странно, но это факт – потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался самым искренним уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блестки старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, – сказал он, – захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты Французский курьер?» – «К пресеченью», – последовал ответ. «Пре в данном случае излишне», – заметил Жильнорман. Так создается репутация.

В другой раз, во время Te deum в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взглядом. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя шепот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем Жильнормана, которого Жильнорман именовал «позором своей семьи».

Глава вторая.
Один из кровавых призраков того времени

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, непременно заметил бы человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекавшим лоб и спускавшимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, – по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они побольше, могли бы сойти за сад, а будь поменьше – за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать – молода она или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Только этим он и занимался.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгин, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, пустив поросшие вереском грядки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами простаивал неподвижно, то слушая пение птиц или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на травке, игравшую, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей, молоко предпочитал вину. Ребенок мог бы командовать им; служанка позволяла себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих,

стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, которому хотелось поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, Монитер и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и Майнцем, – в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом, сражаясь с корпусом принца Гессенского, и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания, в войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон – Палиселя, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командор»! Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Пончерси – в подпоручики. Осыпаемый картечью в битве при Лоди, онстоял подле Бертье и заслужил отзыв Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, – куда именно, не помню, – и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью и восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Это придало ему отваги, и в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился под Аустерлицем во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть входила в 8-й корпус доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. Под Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора этой книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении под Фридландом. Видел Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. Под Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела израненным: у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, двойной сноровки, то есть умел в

качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера – как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. Под Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Когда он вырывал знамя, его ударили саблей и рассекли ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» – «Благодарю вас, ваше величество, за мою вдову», – ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на Оэнскую дорогу. А теперь скажите – кто же этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.

Читатель кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на Оэнской дороге, ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретном фургоне он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство – другими словами под надзор – в Вернон. Людовик XVIII, сочтя все, имевшее место в течение Ста дней, недействительным, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси не упускал случая подписаться: «Полковник барон Понмерси». Выходя из дому, он прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному, сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Больше его не посмели тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным образом поступал в это самое время на острове св. Елены и Наполеон с посланиями Гудсона Лоу, адресованными «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал – да простят нам это выражение – плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, какой только можно было сыскать. Он жил один, с его образом жизни мы уже познакомились. При Империи он успел между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены к этому». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина во всех отношениях превосходная, редких душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя ребенка, пристрастился к цветам.

Он не занимался политикой, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которыми он занимался теперь, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника – «бестолочью». Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда уговорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видеться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам зачумленным. Им хотелось воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только собой.

Наследство Жильнормана – отца сулило немного, зато наследство мадмуазель Жильнорман – старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, обладала богатством, полученным с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто не говорил с ним об отце. Но в обществе, куда водил его дед, его встречали шушуканьем, намеками, перемигиваниями, и в конце концов это дошло до сознания мальчика; он начал кое-что понимать. Он подвергался длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывал ее в себя, и, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал; постепенно он привык думать об отце со стыдом н сердечной болью.

Полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен – Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевельнуться и вздохнуть, смотрел на сына. Покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла его дружба с вернонским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а тот обратил внимание на мужчину, не отрывавшего глаз от ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на глазах. Мужественный на вид человек, плачущий как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Верной повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльпис. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущности своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. В сущности эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой – небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал Жильнорман. А отец отвечал нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.

Глава третья.
Requiescant[17]

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Окно было тусклое; сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и – что еще

менее соответствовало его возрасту – серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он глядел вокруг с изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных почтенных дам, носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби, произносившуюся Камбиз. Старые лица и библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке, вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

К этим призракам присоединялись духовные особы – завсегдатаи старинного салона и дворяне: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом Шарля – Антуана написанные одним и тем же размером оды; князь де Бофремон, еще молодой, но уже седеющий, у которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак; маркиз Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д'Амандр, холостяк с добродушным подбородком, и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Де Пор де Ги, лысый, раньше времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он – непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных днем. Взвалив на спину обезглавленные кровоточащие туловища, они уносили их; на вороте их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать много таких страшных рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», Тибор дю Шалар, Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник «правой» Корне-Денкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив векам образец бальи, отомстившего за философа.

Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый, которому Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору еще не граф, не епископ, не министр, не пэр, носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда приходили аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре, тогдашний папский нунций, высокопреосвещеннейший Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, с длинным меланхолическим носом, и аббат Пальмиэри, носивший звание духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых – postulatore di santi, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: де ла Люзерн и де Клермон – Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем; несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в Консерваторе рядом со статьями Шатобриана. Тулузский архиепископ де Клермон-Тонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон – Тонер был маленький веселый

старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к Энциклопедии и увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу in partibus[18] Каристскому: «Смотри, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг де Роклор, бывший епископ Санлисский и один из сорока бессмертных. В Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили тогда заседания французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Санлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, – вероятно для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и об ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Ему принадлежат слова: «Римские кардиналы-те же пэры Франции; английские лорды – те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил Жильнорман.

Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен – Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, – демагоги.

В салоне г-жи де Т., где собиралось избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди неискушенные легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблял лось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки тоже выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем – и о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная с Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова излетали из уст едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель – вот примерно весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», – к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам этим почтенных особ было действительно присуще особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Что же собой представляли посетители салона г-жи де Т.? Это были «ультра».

Быть ультра! Быть может, явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» – это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря – на митру; это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит насмехаться от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля – в недостатке роялизма, а ночь – в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим защитником, что из защитника превращаешься во врага; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации.

В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-со вступлением в министерство г-на де Вилель, исполнителя воли «правой». Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время – и веселое и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый мирок, новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным – полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и в самом деле был поглощен потопом. Он исчез в двух революциях. О, как могуч поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений Кольне, публициста и букиниста с набережной Малаке. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», у них вызывало смущение. Они были умны; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли – впрочем, не без пользы для себя – белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Он оказал ряд услуг. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? Революция, наследниками которой мы являемся, должна уметь понимать все. Нападать на роялизм – значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, своей матери, иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы – к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щипок с герба Генриха IV? Мы смеемся над Вобланом, стиравшим букву „Н‟ с Иенского моста. А что собственно он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква „Н‟, – наши. Это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Так доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой – их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это-Франция минувших дней.

Как все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника чистейшей,

классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал.

В общем это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

Глава четвертая.
Смерть разбойника

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей Христовых в квартале Маре. Он держал привратника, ту самую горничную Николетту, которая сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках письмо.

– Мариус! – сказал Жильнорман – Тебе надо завтра ехать в Вернон.

– Зачем? – спросил Мариус.

– Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда он встретится с отцом. Трудно представить себе что-нибудь более для него неожиданное, более потрясающее и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжкой повинностью.

Неприязнь Мариуса к отцу основывалась не только на мотивах политического характера. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его Жильнорман, не любит сына. В этом не могло быть сомнений, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя, что он нелюбим, Мариус и сам не хотел любить. Так надо, – уверял он себя.

Он был так ошеломлен, что не задал Жильнорману ни одного вопроса. А дед продолжал:

– Он, кажется, болен. Вызывает тебя.

И, помолчав, добавил:

– Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Верной отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Поезжай с этой каретой. Он пишет, что мешкать нельзя.

Старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца утром. В то время с улицы Блуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встречного, где живет «господин Понмерси». В душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина с лампочкой в руке отворила ему.

– Дома господин Понмерси? – спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

– Здесь живет господин Понмерси? – повторил свой вопрос Мариус.

Женщина утвердительно кивнула.

– Можно поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

– Но я его сын! – настаивал Мариус. – Он ждет меня.

– Он уже не ждет вас, – сказала женщина.

Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь в низкую залу, Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял, выпрямившись во весь рост, другой стоял на коленях, третий, в одной рубашке, лежал на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, в день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» – вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и священником. Доктор пришел слишком поздно. Священник пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке неподвижно лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Слеза означала, что сын опоздал.

Марнус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на его благородное мужественное лицо, на его открытые, но ничего не видящие глаза, на его седые волосы, на его сильное тело на котором то тут, то там выступали темные полосы – следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна – следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот – его отец, что человек этот умер, но остался холоден.

Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; священник молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп и тот плакал.

Несмотря на свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка молча посматривали на Мариуса, – он был здесь чужим. Мариус, не опечаленный смертью отца, испытывал чувство неловкости и не знал, как себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрения к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении под Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он держал трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может».

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус провел в Верноне двое суток. После похорон он вернулся в Париж и засел за учебники, не вспоминая об отце, словно отец и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

Глава пятая.
Чтобы стать революционером, иногда полезно ходить к обедне

У Мариуса осталась от детства привычка к религии. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен – Сюльпис, он прошел в придел Пресвятой девы, куда ребенком водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем обычно; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба только началась, как вдруг незнакомый старик со словами: «Это мое место, сударь» – подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни Мариус в раздумье остановился в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.

– Извините, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, – сказал он. – Но вы, по всей вероятности, сочли меня нехорошим человеком. Мне нужно объясниться с вами.

– Это совершенно излишне, сударь, – ответил Мариус.

– Нет, нет, – возразил старик, – я не хочу, чтобы вы плохо обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он приходил, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку сидеть именно здесь во время обедни. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, а занимать их мог бы по праву как церковный староста. Я даже знал немного этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетка – словом, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Господи помилуй! Ведь нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он дрался под Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, – там у меня брат священник, – звали его не то Понмари… не то Монперси… у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

– Понмерси? – произнес Мариус, бледнея.

– Да, да. Понмерси. А разве вы его знали?

– Это мой отец, сударь, – ответил Мариус.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

– Так вы тот мальчик! – воскликнул он. – Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал Жильнорману:

– Мы с друзьями собираемся на охоту. Можно мне съездить на три дня?

– Хоть на четыре! – ответил дед. – Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

– Какая-нибудь интрижка!

Глава шестая.

К чему может привести встреча с церковным старостой

Куда ездил Мариус, станет ясно дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект Монитера.

Он прочитал от корки до корки весь Монитер, все исторические сочинения о Республике и Империи, Мемориал святой Елены, воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, – он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он посетил вторично, описал ему образ жизни полковника, не имевшего ничего, кроме пенсии, рассказал ему о его цветах и уединении в Верноне. Так Мариусу удалось узнать до конца этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие его время и мысли, он почти перестал видеться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Эге – ге! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и в самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Во взглядах его также совершался переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика – гильотиной, встающей из полутьмы. Империя – саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды – Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце-Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика – к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя – к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за

Революцией великий образ народа, за Империей – великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом, слишком общем суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжим наш рассказ.

Мариус убедился, что до сих пор он так же плохо понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза темную завесу. Теперь он прозрел и испытывал два чувства: восхищение и обожание.

Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь по своему милосердию и благости не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как бы крикнул: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одеждам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» Он становился – и теперь уже по-настоящему – все серьезнее и строже, все тверже в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. В Мариусе происходил процесс внутреннего роста. Он чувствовал, что возмужал благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение – божественное и человеческое – великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо заметить, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превратила в почти сказочное чудовище. Чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, было много ребяческого, партия 1814 года показывала Бонапарта под всевозможными страшными масками, от Тиберия до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все же величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам, мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все прозревал и прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом,

сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простиравшаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; небо черно, звезды сверкают, мир кажется необъятным.

Он читал бюллетени великой армии – эти героические строфы, написанные на полях битв; имя отца он встречал там время от времени, имя императора – постоянно; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой, отдаленный кавалерийский галоп. Он подымал глаза к небу и глядел на сиявшие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, он весь дрожал, он задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки в окно и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

В эту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте – все это исчезло, уступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются н которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром, мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Разумеется, у него были недостатки, он совершал ошибки, даже преступления, иными словами – был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того – олицетворением самой Франции; побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. Подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.

Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус стремился приобщиться к ней – и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, – иными словами, создает двойной культ: божественного и звериного начала. Он допускал много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. В поисках истины можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный безграничного доверия, он соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и превратиться в революционера, демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: Барон Мариус Понмерси.

Все это явилось следствием происшедшей в нем перемены, всецело определявшейся его тяготением к отцу. Но так как у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав Жильнормана, как указывалось выше, давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к Жильнорману. Стоило мосту рухнуть, как между ними образовалась пропасть. Помимо этого Мариуса приводила в неописуемое негодование мысль, что именно он, Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына лишив отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось внешне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

– Да куда же он ездит? – недоумевала тетка. В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним сталось. Занятый розысками, Мариус четыре дня не был дома.

– Ну, разумеется, куролесит, – заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

Глава седьмая.
Какая-нибудь юбка

Мы уже упоминали о некоем улане.

Это был внучатный племянник Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого военного душки. Талия у него была, как у «барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, усы лихо закручивал. В Париж он приезжал очень редко – так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки

Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.

Однажды утром мадмуазель Жильнорман – старшая при всей невозмутимости своего характера вернулась к себе крайне возбужденная. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться сегодня вечером. «Поезжай!» – ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». Мадмуазель Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!», а в знак удивления: «Куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, не без свидания, не без тайны, и была не прочь сунуть сюда свой оседланный очками нос. Любовный секрет – не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души не прочь его отведать. В тайниках ханжества всегда найдется запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томилась смутным вожделением узнать, что это за романтическое приключение.

Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была скучная, работница угрюмая. Она провела в своем кресле несколько часов, как вдруг дверь отворилась. Мадмуазель Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от радости. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

– Ты здесь, Теодюль! – воскликнула она.

– Проездом, тетушка.

– Поцелуй же меня!

– Рад стараться! – отвечал Теодюль и расцеловался с ней.

Тетушка Жильнорман подошла к секретеру и открыла его.

– Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

– Уезжаю нынче же вечером, тетушка.

– Не может быть!

– Совершенно точно.

– Теодюль, дружок, прошу тебя, останься!

– Сердце говорит «да», а устав – «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаюсь с тетушкой».

– Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

– Вы хотите сказать, за удовольствие, дорогая тетушка.

Теодюль опять поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира царапнули ей шею.

– Ты едешь с полком, на коне? – спросила она.

– Нет, тетушка. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду в дилижансе. Да, кстати, у меня к вам вопрос.

– Что такое?

– Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

– Откуда ты знаешь? – воскликнула тетушка; ее любопытство было возбуждено.

– По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

– И что же?

– Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

– Кто же это?

– Мариус Понмерси.

– Дрянной мальчишка! – возмутилась тетка. – Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Смотрите, что он затеял – ночевать в дилижансе!

– Как и я.

– Но ты это делаешь по обязанности, а он по своему беспутству.

– Бездельник! – бросил Теодюль.

И тут мадмуазель Жильнорман – старшую осенило. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

– Твой кузен знает тебя? – живо спросила она.

– Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

– Значит, вы поедете вместе?

– Он – на империале, я – внутри кареты.

– Куда идет дилижанс?

– В Андели.

– Значит, Мариус туда и едет?

– Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса не имею ни малейшего представления.

– Мариус! Какое противное имя! И вздумалось же назвать его Мариусом! Вот у тебя, я понимаю, имя – Теодюль!

– Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, – заметил офицер.

– Слушай, Теодюль!

– Слушаю, тетушка.

– Слушай внимательно!

– С превеликим вниманием.

– Итак, ты слушаешь?

– Да.

– Так вот, Мариус то и дело в отлучке.

– Ай-ай-ай!

– Он куда-то ездит.

– Ого!

– Не ночует дома.

– Эге!

– Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

– Какая-нибудь юбка, – проговорил со спокойствием многоопытного человека Теодюль и с затаенной насмешкой, не оставлявшей места сомнениям, добавил: – Девчонка.

– Так оно и есть! – воскликнула тетка; ей показалось, что она слышит самого Жильнормана; для нее слово «девчонка», произнесенное внучатным племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, звучало особенно убедительно.

– Сделай нам одолжение, последи за Мариусом, – продолжала она. – Он тебя не знает, тебе это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидать. Ты нам напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадмуазель Жильнорман расцеловала его.

– Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинуешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, не подозревая, что у него есть соглядатай. А соглядатай, наш Аргус, заснул сном праведника и всю ночь напролет прохрапел.

– Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона? – крикнул на рассвете кондуктор.

Поручик Теодюль проснулся.

– Превосходно, – в полусне пробормотал он, – мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, – подумал он, застегивая мундир. – Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо – в Ларош – Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угонись за ним! Но что же, черт побери, напишу я милой старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускавшиеся с империала черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» – промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.

– Купите цветов вашим дамам! – кричала она.

Мариус подошел и выбрал лучшие цветы из ее корзинки.

«Дело принимает любопытный оборот! – подумал Теодюль, выскакивая из кареты. – Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет может предназначаться писаной красавице. Я должен на нее поглядеть».

Подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» – решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, – рассуждал сам с собой Теодюль. – Церковь! Очень хорошо. Свидания, заправленные обедней, – чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов абсиды.

«Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи, – подумал Теодюль. – Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он растрепал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

Глава восьмая.
Нашла коса на камень

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал всякий раз, когда, по выражению Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись рядом с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных похождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятного стечения обстоятельств, почти тотчас же не получила отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Жильнорман, как все здоровые старики просыпавшийся спозаранку, услыхал, что Мариус приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться наверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

– Тем лучше, – сказал Жильнорман и проследовал в гостиную, где уже восседала мадмуазель Жильнорман – старшая, вышивавшая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, Жильнорман воскликнул:

– Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел футлярчик из черной шагреневой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и некоторое время, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

– Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

– Давайте посмотрим, отец, – сказала старая дева.

Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

– От той же к тому же, – с громким хохотом сказал Жильнорман. – Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

– Ну прочтемте же ее! – сказала тетка и надела очки. Затем развернула бумажку и прочла следующее:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

– Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. Мадмуазель Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Мадмуазель Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: Барон Мариус Понмерси.

Старик позвонил. Вошла Николетта. Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

– Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

– Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его, тотчас впал в насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее.

– Так, так, так! – закричал он. – Оказывается, ты теперь барон. Ну. поздравляю тебя. А что это собственно значит?

– Это значит, – слегка покраснев, ответил Мариус, – что я сын своего отца.

Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

– Твой отец – это я.

– Мой отец, – продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, – был человек скромный, но храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший свое величие в величайших исторических событиях, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи и под дождем, человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным, виновным единственно в том, что слишком сильно любил двух неблагодарных – родину и меня!

Это было уж чересчур, Жилънорман не вытерпел. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же

действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного – пунцовым, из пунцового – багровым.

– Мариус! Мерзкий мальчишка! – воскликнул он. – Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и его самого не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорят тебе! Все без исключения! Все! Запомни, Мариус! А ты такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу – о – на – парту – одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! Законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан под Ватерлоо! Вот это мне известно. А ежели почтенный ваш родитель, чего я до сих пор не знал, – принадлежит к их числу… Ну что ж, очень жаль, тем хуже для него!

Теперь наступила очередь Маркуса играть роль угля, а Жильнормана – мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают его облатки, или факир, на глазах у которого прохожий плюет на его идола. Может ли он допустить, чтобы такие слова безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии над отцом надругались, топтали его ногами. И кто? Дед. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны – священная могила, с другой – седины. Под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

– Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоявшему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, сказал, улыбаясь, почти спокойно:

– Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, страшный, с надувшимися на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

– Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день Жильнорман сказал дочери:

– Посылайте каждые полгода шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются мелочами. И хотя вины от этого не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату. Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице в мансарду медальон из черной шагреневой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» – с этого дня он иначе не называл его – бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки,

написанные полковником, – в сущности, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него реликвией, все это составляло частицу его души. Что с ними сделали?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станется с Мариусом?

Книга четвертая
Друзья азбуки
Глава первая.
Кружок, чуть было не вошедший в историю

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, – да простят нам это выражение! – начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы – демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда самые неожиданные сочетания идей; преклонялись и перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтерианский роялизм нашел себе не менее странного партнера в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей неумолимости заставлять умы устремляться к лазурным высям и витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тугендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.

Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа[19]. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например Castratus ad castra[20], благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например Barbari et Barberini[21], например Fueros y Fuegos[22]; например Tu es Petrus et super hanc petram[23] и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии, мы бы даже сказали – котерию, будь в возможностях котерий выдвигать

героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен – Мишель, в маленьком кафе «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго – студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в дальней комнате кафе «Мюзен».

В этой зале, достаточно отдаленной от самого кафе, с которым ее соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом об иных делах. К стене – этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, – была прибита старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей – они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л'Эгль, Жоли, Грантер.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в безднах, оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, будет нелишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы назвали первым, – а почему именно его, станет ясно впоследствии, – был единственным сыном богатых родителей.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивых глаз можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил Апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал до мельчайших подробностей все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала – если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице – то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув зрелости мужчины, он все еще выглядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид – семнадцать. Он был строгого поведения и, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть – справедливость и одна мысль – ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте – Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пенья птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал глаза перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затее завести с ним интрижку грозил неминуемый провал. Если гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красы, его изумленный и грозный взгляд мгновенно

разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше.

Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, стоял Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, – говорил он, – но нужна и цивилизация»; вокруг крутой горы перед ним раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, Комбефер – естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй – сторонником Кондорсе. Комбефер в большей степени, чем Анжольрас, жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой – мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер – человечнее. Homo et Vir[24], – в этом в сущности и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека, вслед за испанцами, НотЬге. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент – Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна – лицо, другая – мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, сопоставлял теории «Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты Монитера и размышлял. Он утверждал, что будущность – в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи. Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши школы в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к „несбыточным мечтаниям‟. Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его не пугали крепости, всюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим – пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер был не способен к борьбе. Нет, он всегда готов был грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы, и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дождаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что

Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По существу, он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток – клоаке, Ниагарский водопад – Монфоконскому озеру. Словом, он не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. „Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла‟, – неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса – в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий прогресс, и Дантон, воплощающий революцию, отличаются друг от друга, как ангелы с крылами лебедя от ангелов с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветами, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково твердо верил и в светлое будущее и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по ее вине царственную голову – за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос с неожиданными переходами в резкие тона. Он был начитан, как ученый, и мог почти сойти за ориенталиста, но прежде всего он был добр, и потому – это вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, – в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, Агриппу д'Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками; облака занимали его, пожалуй, не менее житейских дел. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой – к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами; заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение – вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник, а по вечерам наблюдал за громадами ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил, опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком, круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту – освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота – стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не осталось ни одного человека без отчизны. С

проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с тем большей настойчивостью, что он сознавал свое право на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы – Россией, Венеции – Австрией – все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование – лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, который предательство лишило независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и зачином всех ужасных притеснений, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, самое существование которых оказалось вследствие этого, – если можно так выразиться, – под вопросом. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши – теорема, все современные политические злодеяния – ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать ne varietur[25] раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815-м делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава так же не может оставаться татарской, как Венеция – немецкой. Бороться за это – напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия – Италией. Протест права против актов насилия не молкнет. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали господин де Курфейрак. К числу многих неверных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен – г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек – Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет – г-ном Лафайетом Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой: Курфейрак – см. Толомьес.

Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка; двуногое очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое – в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, его передают из рук в руки, quasi cursores[26], почти без изменений. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он – больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым нравом.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Отчаянный буян, иными словами – страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, подстрекаемый любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он одиннадцатый год числился студентом. но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом – ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот-до пальто в ту пору еще не додумались – и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Красавец старик!», а о декане факультета Дельвенкуре: «Монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, профессора, которых слушал, – сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.

Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать – только парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда.

Он служил связующим звеном между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более определенную форму.

В нашем конклаве был один лысый молодой человек.

Маркиз д'Аваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» – спросил король. – «О месте почтмейстера, ваше величество». – «Как вас зовут?» – «Л'Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не л'Эгль, а Легль[27]. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество! – продолжал проситель. – Мой предок был псарь по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно – Легль, а искаженно – л'Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо.

Лысый друг азбуки был сыном этого л'Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.

Боссюэ был веселым, но незадачливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен и

умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял – все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валится черепица». Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги!»

Боссюэ не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля. Чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а изножьем на север, чтобы, под влиянием магнитных сил земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, – в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех „л“!» – шутил Жан Прувер.[28]

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательности.

Всех этих молодых людей, столь не похожих друг на друга, объединяла общая вера в Прогресс; в конечном счете они заслуживали глубокого уважения.

Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.

Организовав братство посвященных, они начали втайне подготовлять осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером; он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р[29]. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо

усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» – наилучшим бильярдом, «Эрмитаж» на бульваре Мен – прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое винцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, ко всему прочему был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантер, – заявила она, – есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» – и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс – представлялись Грантеру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете он относился иронически. Любимый афоризм его был: «В жизни достоверно одно – стакан вина». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли?» – восклицал он. Распятье на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, вечно пьяный, он напевал себе под нос: «Люблю я красоток, люблю я вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика был предмет фанатического увлечения: не идея, не догма, не наука, не искусство, но человек, а именно – Анжольрас. Грантер восхищался им, любил его, благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул этот во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покорил его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик-кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантеру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в этом ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности, изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантер искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился в некотором роде личностью. К этому необходимо добавить, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых, элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Явление противоречивое, ибо привязанность – та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена – только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет своей жизни, их жизнь-изнанка чужой судьбы. Грантер был один из таких людей. Он представлял собою оборотную сторону Анжольраса.

Можно утверждать с известным основанием, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны; сказать О и П – это все равно что сказать Орест и Пилад.

Грантер, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, только там чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. Для него не было большей радости, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. А его терпели за покладистость.

Верующий, трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантер оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к Анжольрасу и говорил про него: «Кремень, а не человек!»

Глава вторая.
Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят читатели, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», с томным видом прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз – груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен – Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь – это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, – обратить на него внимание. Легль из Мо, в полудремотном состоянии рассеянно глядя по сторонам, вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, а на ней бросались в глаза написанные крупными черными буквами имя и фамилия: Мариус Понмерси.

Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:

– Господин Мариус Понмерси!

Двуколка остановилась.

Молодой человек, по-видимому тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

– Что? – сказал он.

– Вы господин Мариус Понмерси?

– Да, это я.

– Я вас разыскиваю, – объявил Легль из Мо.

– Вот как? – удивился Мариус; это был и в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. – Я вас не знаю.

– И я вас не знаю, – молвил Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

– Вас не было позавчера на лекциях.

– Возможно.

– Не возможно, а совершенно точно.

– Вы студент? – спросил Мариус.

– Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке.

Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль продолжал:

– Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, чинить нынче расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси!» Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» – и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх! Славного малого хотят вычеркнуть. Постойте! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может в этот самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» – «Здесь!» – ответил я. Потому-то вас и не вычеркнули.

– Позвольте, сударь… – начал было Мариус.

– А вычеркнули меня, – закончил Легль из Мо.

– Я вас не понимаю, – сказал Мариус.

– Дело простое, – принялся объяснять Легль. – Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, – он. видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, – перескакивает на букву Л. Л – это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

– Л'Эгль… Какое прекрасное имя! – прервал его Мариус.

– Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает «Легль!» – «Здесь!» – отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Если вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

– Я глубоко огорчен, сударь! – воскликнул Мариус.

– Прежде всего, – прервал его Легль, – я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: Erudimini qui judicatis terram[30]. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины – bos disciplinae, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня – из числа студентов.

– Мне очень неприятно… – снова начал было Мариус.

– Да послужит вам это уроком, молодой человек, – сказал Легль из Мо. – Впредь будьте аккуратнее.

– Примите самые искренние мои сожаления.

– Впредь ведите себя так, чтобы ваших ближних не вычеркивали из списков.

– Я просто в отчаянии…

Легль расхохотался.

– А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни

обижать сирот. Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то я добился исключения! И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

– В этом кабриолете, – ответил Мариус.

– Значит, вы богаты, – не моргнув глазом, подхватил Легль. – Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

– Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история – мне некуда деваться.

– Поедемте ко мне, сударь, – сказал Курфейрак.

– Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, – заметил Легль, – но беда в том, что у меня у самого нет дома.

– Замолчи, Боссюэ, – оборвал его Курфейрак.

– Боссюэ? – с недоумением повторил Мариус. – А я полагал, что фамилия ваша Легль.

– Из Мо, – ответил Легль, – иносказательно же – Боссюэ.

Курфейрак сел в кабриолет.

– Гостиница Порт-Сен-Жак! – приказал он извозчику.

В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком.

Глава третья.
Изумление Мариуса растет

Не прошло и нескольких дней, как Мариус подружился с Курфейраком. Юность-пора стремительных сближений и быстрого зарубцовывания ран. В обществе Курфейрака Мариусу дышалось легко – ощущение, ранее ему незнакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все читается на лице. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимопонимания молодым людям достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак неожиданно спросил Мариуса:

– Кстати, у вас есть какие-нибудь политические убеждения?

– Ну разумеется, – ответил Мариус, слегка обиженный вопросом.

– Кто же вы?

– Демократ-бонапартист.

– Окраска в достаточной мере серая, – заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию», – и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остромыслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.

Мариус вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре он был склонен к монологам и разговорам с самим собою, и ему было как-то не по себе среди обступившей его молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия и привлекала и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. В эти минуты душевного смятения они разбегались, и он с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе,

искусстве, истории, религии, знакомился с самыми крайними взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое миросозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, теперь он начал подозревать, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием мерных толчков умственный горизонт его заколебался. Это было состояние внутренней ломки. Оно причиняло ему почти физические страдания.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог услышать потрясающие речи, смущавшие его еще робкий ум.

Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара.

– Долой трагедию, любезную сердцу буржуа! – кричит Баорель.

Ему возражает Комбефер:

– Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет право на существование. Я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, среди ее творений есть готовые пародии: клюв – не клюв, крылья – не крылья, плавники – не плавники, лапы – не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, – вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, при Мариусе, проходившем вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан – Жака Руссо, произошел следующий разговор.

– Обратите внимание, – сказал Курфейрак, беря его под руку, – мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан – Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан – Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет детей, а Жан-Жак – подкидышей.

Курфейрака оборвал Анжольрас:

– Не оскверняйте памяти Жан – Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял себе в сыновья народ.

Никто из молодых людей не употреблял слова «император». Только Жан Прувер иногда говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал Буонапарт.

Все это приводило Мариуса в изумление. То было initium sapientiae.[31]

Глава четвертая.
Дальняя комната в кафе «Мюзен»

Один разговор между молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который он изредка вставлял слово, произвел на него огромное впечатление.

Дело происходило в дальней комнате кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том о сем громко, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме судомойки Луизон, время от времени проходившей туда, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.

Грантер, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.

– Жажда томит меня, о смертные! – орал он. – Мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них – я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь – кто ее только выдумал! – прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить – непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь – сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье – старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклезиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа – это негр в побрякушках, с изнанки глупа – это философ в рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, даже настоящая честь и слава – подделка под золото. Человеческое тщеславие – игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus[32] и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается душевных качеств человека, то и они немногого стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, непоздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, я проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать – один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый – родня скупому, щедрый – брат моту, храбрый – друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью – пускай, но и безумством. У этих великих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Врут был влюблен в одну, Нерон – в другую. История-это переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва под Маренго – точная копия битвы под Пидной; Толбиак Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но вам достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, всюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Si volet usus»[33], говорит Гораций. Вот за что я и презираю род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать, позвольте спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона – здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи – и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная

Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг – Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии time is money[34] и что останется от Англии? Отнимите у Америки cotton is king[35], и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии – желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один Павел задушенный, другой – затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев – все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, притом война цивилизованная, применяет все виды разбоя, начиная с нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев – команчей. Бросьте, скажете вы. Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия нелепа. Однако я не вижу особых оснований вам, народы Запада, потешаться над далайламой, – вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ – и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме – водки, в Мадриде – шоколада, в Амстердаме – можжевеловки, в Лондоне – вина, в Константинополе – кофе, в Париже – абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех перещеголял. В Париже и тряпичник живет, как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньше удовольствия быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них – «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусочные и питейные, ресторации и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сараи халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник, столуюсь у Ришара, плачу сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.

Так разглагольствовал нахлеставшийся Грантер в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев проходившую мимо судомойку.

Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантер разошелся.

– Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и угомониться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа – богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми – дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его, господа бога, к черту!

– Да замолчи же, наконец, ЭР прописное! – прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«…А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и…»

– «Эхо, жалобных нимф голоса»… – затянул Грантер.

По соседству с Грантером за столиком царила почти мертвая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, две склоненные головы касались друг друга.

– Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно придумать сюжет.

– Это верно. Диктуй. Я записываю.

– Господин Доримон.

– Рантье?

– Разумеется.

– Его дочь Целестина…

– …тина. Дальше?

– Полковник Сенваль.

– Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, тоже воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный опытом тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

– Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок левша.

В противоположном от Грантера углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

– Ты счастливчик, – говорил Жоли. – Твоя возлюбленная все время смеется.

– И напрасно, – отвечал Баорель, – это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальная, становится совестно.

– Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

– Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая наш священный союз, мы определили друг другу границы и никогда их не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, – к Жексу. Отсюда нерушимый мир.

– Мир-это спокойно перевариваемое счастье.

– А как твои дела, Жол-л-л-л-и? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?

– Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.

– Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был бы ее разжалобить.

– Увы!

– На твоем месте я бы с ней распрощался.

– Легко сказать.

– Не труднее чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?

– Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки – ну просто колдовские. Я от нее без ума.

– В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.

– Надолго ли? – крикнул Грантер.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно, выступал Жан Прувер. Он бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся задор, и он становился насмешлив и лиричен.

– Не будем оскорблять богов, – взывал он. – Быть может, боги еще живы. Мне Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги – это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, – головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, перебирая пальцами дырочки. И я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, Курфейрак яростно нападал. На столе лежал злополучный экземпляр хартии в знаменитом издании Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

– Во-первых, я вообще против королей, – уверял он. – Уже из соображений экономического порядка я считаю их лишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Вы только послушайте, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Не следует вводить народ в заблуждение. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемилостивейших, дарованных народу вольностей. Во всяких таких вольностях наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия – маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Дет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился фразой:

– Метаморфоза совершилась – хартия превращена в пламя.

А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, у англичан – юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь со всех концов комнаты, создавали впечатление веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

Глава пятая.
Расширение кругозора

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра или засверкает молния. Что возникнет спустя мгновенье? Никто не знает. Трогательное может вызвать взрыв смеха, смешное – заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель – случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь толщу беспорядочных речей споривших между собою Грантера, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что этого никто не знает и среди шума и гама Боссюэ неожиданно заключил возражение Комбеферу датой:

– Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

– Меня всегда поражало, что это за странная цифра восемнадцать, бог ее знает! (Выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления.) – воскликнул Курфейрак. – Восемнадцать – роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее – Брюмер, и вот вам судьба великого человека с одной только существенной черточкой: в данном случае конец наступает на пятки началу.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

– Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» – это слово переполнило чашу терпения Мариуса, и без того взволнованного упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

– Это Корсика. Островок, сделавший Францию великой.

По комнате словно пронесся порыв ледяного ветра. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался пустить в ход один из своих излюбленных ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.

Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

– Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она – Франция. Quia nominor leo.[36]

Однако Мариус не имел ни малейшего желания отступать. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от волнения голосом:

– Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на у, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит – Буонапарте. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же

заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, он составлял своды законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он и творил и писал историю, его бюллетени-песни Илиады; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника, со звездочетами – в астронома; подобно Кромвелю. который всегда задувал одну из двух горящих свечей, он, чтобы подешевле купить кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плавучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте, с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два своих крыла: великую армию и старую гвардию, – воистину это архангел войны!

Все молчали, Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени принято за знак согласия или за свидетельство того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением:

– Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает свой гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, – пусть чувствуют, что когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какой блестящий жребий – следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто, что ни день, дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Иена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какой блестящий жребий – быть великой нацией, создавшей великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то необыкновенный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно? И есть ли что-либо прекраснее этого?

– Быть свободным, – промолвил Комбефер.

Теперь Мариус, в свою очередь, потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

Когда бы Цезарь дал мне славу,
И трон, и скипетр, и державу,
И мне велел за то предать
Мою возлюбленную мать,
Я Цезарю сказал бы прямо:
«Мне твоего не надо хлама,
Я мать свою люблю, слепец!
Я мать свою люблю!»

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый, высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю…

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

– Гражданин! – сказал, обращаясь к нему Анжольрас. – Мать – это Республика.

Глава шестая.
Res angusta[37]

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь в нее железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот миг только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее.

Мариус был в мрачном настроении. Он так недавно обрел веру! Неужели нужно отрекаться от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжко; и лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, побуждало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» – задавал он себе вопрос. Проделав длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других – слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал о насущных сторонах жизни. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

– Господин Курфейрак поручился за вас.

– Да.

– Но я хотел бы получить деньги.

– Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо с ним переговорить, – ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок и что родных у него больше нет.

– Как же вы будете жить? – спросил Курфейрак.

– Не знаю, – ответил Мариус.

– Что вы намерены делать?

– Не знаю.

– Деньги у вас есть?

– Пятнадцать франков.

– Не хотите ли занять у меня?

– Ни в коем случае.

– Есть ли у вас платье?

– Да вот же оно!

– А ценные вещи?

– Часы.

– Серебряные?

– Нет, золотые. Вот они.

– У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

– Превосходно.

– Значит, у вас останется только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

– И сапоги.

– В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

– Большей мне и не требуется.

– У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

– Очень хорошо.

– Ничего хорошего тут нет. А что вы будете делать потом?

– Я согласен на любой труд, но только на честный.

– Вы знаете английский язык?

– Нет.

– А немецкий?

– Тоже нет.

– Жаль.

– Почему?

– Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или с английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все-таки можно.

– Я выучу и английский и немецкий язык.

– А до тех пор?

– До тех пор буду проедать платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил вещи Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

– Ну что же, это неплохо, – сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, – с моими пятнадцатью это составит восемьдесят франков.

– А счет за гостиницу? – напомнил Курфейрак.

– Верно. Я и забыл, – сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.

– У меня остается десять франков, – заметил Мариус.

– Черт возьми! – воскликнул Курфейрак. – Вам придется питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и на пять, пока будете изучать немецкий! Нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно – монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистолями», то есть с шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором сообщал, что имеет средства к существованию и может сам себя содержать. К тому времени у него осталось всего три франка.

Тетушка не передала деду отказ Мариуса, – она боялась окончательно рассердить старика. Ведь он же приказал при нем «никогда не упоминать» об этом кровопийце!

Не желая залезать в долги, Мариус покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.

Книга пятая

Преимущество несчастья

Глава первая.

Мариус в нищете

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье-это еще полбеды. Он, как говорится, хлебнул горя. Страшная вещь-нужда; это значит – дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; это значит, что по целым неделям нечего заработать и от будущего нечего ждать; это значит – сюртук, протертый на локтях, и старая шляпа, возбуждающая у молодых девушек смех; это значит – вернуться домой и увидеть, что дверь на замке, потому что ты не заплатил за квартиру; это значит – наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей; это значит – унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что, кроме этого, зачастую и глотать-то нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание своей неуязвимости, потому что необходима любовь, он понимал, что смешон, потому что плохо одет, и презираем всеми, потому что беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на свои дырявые сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные – обретя величие! Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

В мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность – вот поле битвы, выдвигающее своих героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью наиболее прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, почти всегда мачеха, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Часто можно было видеть молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в мясную лавку на углу, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у

него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. Это был Мариус. Котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой – жир, на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от черного платья. Зато ему отказалось служить платье. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус оказал дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Мариус выходил из дома только в сумерки. Сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облекался в темноту ночи.

И все же ему удалось получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя мадмуазель Жильнорман услыхала, что отец, находясь один в комнате, громко разговаривает сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, – говорил старик, – ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

Глава вторая.
Мариус в бедности

Со всем на свете свыкаешься, и с нищетой тоже. Мало-помалу она становится не такой уж невыносимой. Она приобретает в конце концов устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает – иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него миновало. Теснина впереди расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом; там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он шел по улице Сен – Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басе, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта па три су. Хлеб стоил три су, и его давали вволю. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он

давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли: «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать, Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы – и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье – пятьдесят, стирка – пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса было два костюма: старый, «на каждый день», и новый – для торжественных случаев. И тот и другой – черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные, и это вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. Чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного – брать в долг! Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого су. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина: господская власть распространяется только на ваше физическое я, кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец; в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя – имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, – этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый – для Тенардье. Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, с тех пор, как узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его

неудаче, он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, – думал он, – ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу! Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и, в свою очередь, вернуть к жизни? Нет, я найду его!» Чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» – было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса.

Глава третья.
Мариус вырос

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними, – ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Мариус был тверд, как бронза, Жильнорман крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус не знал, какое сердце у деда. Он вообразил, что Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Есть отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая обожание тумаками и затрещинами; но когда мальчик ушел из его дома, он почувствовал в своем сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его строго исполняется. Первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему огорчению Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», – убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова безмолвным покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему недоставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на всю его стойкость, в его душе с уходом Мариуса что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Маре, становился все более н более замкнутым. Он был по-прежнему весел и вспыльчив, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, только бы он вернулся!» – иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, которые, конечно, у нее были.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и оттого, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печь новейшего изобретения, поглощающую свой дым. Случалось, что иной незадачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-то дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило забыть горечь обиды. Он вспоминал теперь о Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его былое возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и означали слова полковника: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что направляет нашу волю к действию, а душу к высоким целям. Бедность обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием этого является неодолимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный юноша трудом добывает хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, то может предаться мечтаниям. Ему доступны бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого страждет, мир творений, в котором он является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений бога. Он мечтает и чувствует себя великим, мечты уносят его все дальше и дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается у него в сердце. Да и бывает ли он несчастен? Нет. Молодого человека нищета не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыханья всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается мыслями. Закончив дневной урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами у него камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен, и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.

Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и

успокоился, решив, что бедным быть лучше, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, что он проводил целые дни в раздумье, словно зачарованный, погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше ради духовной пользы. Иначе говоряжертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Он полагал, что ни в чем не нуждается, но не замечал, что понятая таким образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; удовольствовавшись самым необходимым, он слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно ясно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

Несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикойкакая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в скромной книготорговле обеспечивала ему без большой затраты труда надежный заработок, и его вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, если не ошибаюсь, это был Мажимель, предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Из слепого превратиться в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его отпугнули, он так и не вошел в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать один другому любую услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и Мабеф; один был молод, другойстар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим душевным переворотом, во-вторых благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с моих глаз катаракту», говорил Мариус.

И действительно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь туда внесенная. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то Мабеф был совершенно неспособен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с Мабефом, то мы считаем нелишним сказать о нем несколько слов.

Глава четвертая.
Мабеф

В тот день, когда Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него безразличны, он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, – он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим фурий «прекрасными, благими, прелестными», Эвменидами. Самому Мабефу политические воззрения заменяла страстная

любовь к растениям и еще большая к книгам. Как у всех его современников, у него был ярлычок, оканчивавшийся на ист, без которого тогда никто из обходился. Однако Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только in folio, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сенжерменские; по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел собрание людей безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, мужчину – сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты? „Не припоминаю‟,ответил он. Если ему случалось – а с кем это не случается? – вздыхать иногда: „Ах, будь я богат!‟ – то он говорил это не как старик Жильнорман, заглядываясь на красотку, а любуясь старинной книгой. У него жила старая экономка. Когда он спал, его скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорками под складками простыни (следствие хирагры в легкой форме). Он написал и издал книгу Флора окрестностей Котере. Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью; он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателя. Он выручал около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые он снимал вместе с садиком, являлись оправленные в рамки гербарии и гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. У него был брат священник, но, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот СенЖак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой его служанка. Добрая старушка так и осталась девицей. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с Мизерере Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту; она была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий нрав. Молодость в соединении с мягкостью оказывает

на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховым дымом, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же горизонт для Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие Флоры. На Флору окрестностей Котере сразу прекратился спрос. Недели шли за неделями, а покупателей у Мабефа не было. Если звонил звонок, Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день Мабеф докинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с СенСюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только три месяца по двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда беспрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою Флору, клише, гербарий, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц; здесь он за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, вез остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то задумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»

Лишь двум посетителямхозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот СенЖак, да Мариусу разрешалось навещать Мабефа в его аустерлицкой хижине; откровенно говоря, это громкое наименование не доставляло ему удовольствия.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к своей судьбе Сосредоточенность на одном предмете родит пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем Онставка в ней, а следит за партией с полнейшим безразличием.

Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокою душевную ясность. В его мышлении была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них при этом такой, словно они хотят во что бы то ни стало убедить себя в истинности читаемого.

С такой именно выразительностью читала тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до того места, где говорится о красавице и драгунском офицере:

«…Красавица рассердилась и сказала: „Буду“. И драгуна…»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

Будду и Дракона, вполголоса повторил Мабеф. Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Не одна звезда сгорела от возней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Будда вошел в его пещеру – ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

Глава пятая.
Бедность и нищета – добрые соседи

Мариусу нравился этот простодушный старик, засасываемый нуждой н уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли долгие одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил возле усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. И многие находили, что одежда у него какая-то странная, а вид зловещий. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью н дешевизной, поселился здесь… Все знали его тут под именем г-на Мариуса.

Старые генералы и старые товарищи отца, познакомившись с Мариусом, стали звать его к себе. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность поговорить об отце. Он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели, как зеркало, ему не хотелось.

«Уж так созданы люди», не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты чего бы вы подумали? Совести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса тоже нашла в них исцеление Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, сохранились симпатии. Сторонником какой партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам, из всей нации-народу, а из всего народаженщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставил поэта выше героя, книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, все человеческое казалось ему ничтожным.

Он думал, и, быть может, справедливо, что открыл настоящий смысл и настоящую философию жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, доступного взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить планы на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладай наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно исходящего из сокровенных глубин нашей души, чем наши безотчетные и безудержные стремления к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связанных, продуманных, стройных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

– А за что же их гонят? – спросил он.

– За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

– Сколько это составляет?

– Двадцать франков, – ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

– Вот вам двадцать пять франков, – сказал он старухе. – Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

Глава шестая.
Заместитель

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Марксом, теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам, она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, рассуждала она, это все равно что исправленная опечатка в книге „Мариусчитай Теодюль“».

Внучатный племянник почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда Жильнорман был занят чтением не то Ежедневника, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, ибо речь шла об ее любимчике сказала:

– Папенька! Нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

– Кто такой Теодюль?

– Ваш внучатный племянник.

– А-а! – протянул дед.

Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатного племянника какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется – роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и

обыденном для Парижа той поры факте, а именно «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом «обсуждения» на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадмуазель Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком»

Теодюль, ваш внучатный племянник! громким голосом произнесла мадмуазель Жильнорман, обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

– Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному, а закончив по – штатски.

А, это вы! Прекрасно, садитесь, проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а Жилыюрман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:

Сопливая команда! А туда же собираться! Слыханное ли дело: не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда жесовещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно ясно только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланитьполагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник-два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Все они такие, ваши республиканцы.

Совершенно верно, подтвердил Теодюль.

Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал.

И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием? Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут, он прекрасно знает, что в конце концов народ это только народ, его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в Отца Дюшена, строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадаются на эту удочку. Никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало! Девятнадцатый век это яд. Какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков родителей наутек. Это по республикански, это романтично. А что

это за штука такая романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на Эрнани. Скажите на милость, Эрнани! Разные там антитезы, ужасы. И написано даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до чего докатились!

Вы совершенно правы, дядюшка, сказал Теодюль.

Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? не унимался Жильнорман. Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А если и попадется среди них не подлец значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки. глядя на них, прыскают. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. Они не только неказисты они еще и глупы; им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них безобразно, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье таково и пенье. Их словечки разве только на их подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев есть, изволите ли видеть, свои политические воззрения! Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами радырадешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Такого не увидишь даже у краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, разгуливающие нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, – и те не такие скоты, как эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно ясно конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит эго всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там и вон из семьи. Все газеты чума, даже Белое знамя! Ведь Мортенвиль был в сущности якобинцем. Боже милосердный! Теперь он может быть доволен: он довел своего деда до отчаянья!

Это не подлежит никакому сомнению, согласился Теодюль.

Воспользовавшись тем, что Жильнорман умолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

Из газет следовало бы сохранить только Монитер, а из книг Военный ежегодник.

Все они вроде Сийеса! – снова заговорил Жильнорман. – Из цареубийц – в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сийес философ! Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малаке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс безумие, ваше человечество мечта, ваша революция преступление, ваша республика уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были-журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что, милые друзья!

Черт побери! воскликнул поручик. Как это верно!

Жильнорман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:

Дурак!

Книга шестая

Встреча двух звезд

Глава первая.

Прозвище как способ образования фамилии

В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного; выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключаи он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски, и смеются над ним. На самом деле они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил «по-дурацки», как выражался Курфейрак.

Не лезь в святоши (они были на «ты»: в юности друзья легко переходят на «ты»), – говорил Курфейрак. Мой тебе совет, дружище: поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, Мариус! А будешь бегать от них да краснеть отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат!»

Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин, и молодых и старых, да и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это – женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка». Другая была девочка; он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания.

Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом, почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходившей на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею, – а это бывало почти ежедневно, – он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним

бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, на вид новенькие, с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Чистюля-вдовец!» – крикнула однажды, проходя мимо, гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она показалась ему тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них. А те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали. Девочка весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь сызнова. Раз шесть мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею Питомника: прилежные – после занятий, иные – после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца – «господином Белым». Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А! Господин Белый тут как тут!» – говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его г-ном Белым.

Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил мало приятной.

Глава вторая.
Lux facta est[38]

На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил прогулки в Люксембургский сад и почти полгода не показывался в аллее. Но вот однажды, ясным летним утром, он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик нисколько не изменился, а девушка показалась ему совсем иной… Высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, – пору

мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова – как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И, наконец, довершал обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа, хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям – предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо, Мариус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего; трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он вгляделся в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, в мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня – это существо, которое волнует вас.

Но девочка не только выросла, в ней появилась одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищенства попадают в роскошь, сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, – вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая девушка. На ней было платье из черного дама, пелеринка из той же материи и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

А старик совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом.

Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там «отца и дочь», но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава третья.
Действие весны

Был теплый день; Люксембургский сад заливали свет и тень, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе; он ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего – и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, – то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости!

Этот первый взгляд еще не сознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые невольно расставляет невинность и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «на каждый день», иными словами – в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях.

Глава четвертая.
Начало серьезной болезни

На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул – небывалая роскошь! – перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, сказал товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Наверно, он шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке» г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в

атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни обычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какая глупая книга – «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нес, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что сидели сзади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось пройти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было то же платье из дама и та же креповая шляпка, что и накануне. До него донесся чей-то дивный голос – наверное, «ее голос». Она что-то не спеша рассказывала. Она была прехорошенькая. Он чувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, – думал он, – если бы узнала, что не кто иной, как я, – подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию Жиль Блаза!»

Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца «г-н Белый».

Несколько минут стоял он, опустив голову и чертя на песке тростью.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

Глава пятая.

Громы небесные разражаются над головой мамаши Ворчуньи

На другой день мамаша Ворчунья – так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела, – итак, мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне; издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день – это был уже третий по счету – мамашу Ворчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

– Три дня подряд! – воскликнула она.

Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» – ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

Глава шестая.

Взят в плен

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, – думал он, – я не успею принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, то казалось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? – задавал он себе вопрос. –

Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные, мягкие шаги. Он вообразил, что г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» – думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней, и говорит: «Я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взором.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной – той совершенной красотой, и женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте – преклонить колени. Мариус чувствовал себя на верху блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко сиеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь, встретить девушку где-нибудь на улице.

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком.

– Пойдем со мной обедать, – предложил он.

Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону.

– А ты читал сегодня газету? – спросил он за десертом Курфейрака. – Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр.

– Плачу я, – заявил он.

Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в Адретской гостинице. Мариус смеялся от души.

Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» – привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения.

– А все-таки очень приятно иметь орден! – воскликнул он.

– Это уж смешно! – шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

– Нет! – возразил Жан Прувер. – Тут не до смеха.

Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало сильной страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд – это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано?

Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд в вас вцепился. Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути, попались ли вы по рассеянности, как и почему это случилось – не важно. Но вы погибли. Вас тянет туда всего. Вас скуют таинственные силы. Сопротивление напрасно. Человеческая помощь бесполезна. От колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой; все муки, все пытки придется вам претерпеть, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины обезображенный стыдом или преображенный любовью.

Глава седьмая.
Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубленно, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений – все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которая именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», – говорил Курфейрак. А Мариус испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было – девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». Как истинный макиавеллист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине – со дня рождения! Губы ее отвечали одному, глаза – другому.

Надо думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду – вторая ошибка!

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил – процесс естественный и неизбежный – в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье; подлив масла в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без

вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы, и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква „У", – думал он, – обозначает имя. Наверное, Урсула! Чудесное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

– Я чувствую в нем всю ее душу! – восклицал он.

А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана.

В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

– О стыдливость! – говорил себе Мариус.

Глава восьмая.
Даже инвалиды могут быть счастливы

Если мы уже произнесли слово «стыдливость» и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный ветер, колыхавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг еще более резвый порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Феокрита, приподнял ее платье – не менее священное, чем покрывало Изиды, платье – почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.

Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, – думал он, – мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Вообразить себе только! То, что она натворила, ужасно!» Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был ветер; но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с г-ном Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый, свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами – солдатский орден Людовика Святого; сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то

непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» – повторял он себе. А, чтоб он пропал, этот инвалид!

Время притупляет остроту чувства. Гнев Мариуса на «Урсулу», гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

Глава девятая.
Затмение

Мы видели, как Мариус открыл – или же вообразил, что открыл, – будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дому.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя – прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дому и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

– Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

– Нет, – ответил привратник, – это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

– Его квартира выходит на улицу?

– Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, – объяснил привратник.

– А кто он такой, этот господин? – продолжал Мариус.

– Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

– А как его фамилия? – задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

– Уж не сыщик ли вы будете, сударь? – спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, – думал он. – Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмотрел на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас.

На следующий день в Люксембургском саду – никого Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь – влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило? – подумал он. – Лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день, – теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него уже не существовал, – на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду, но это его уже не удивило. В семерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен в мрак.

Мариус постучался и вошел в ворота.

– Дома господин, проживающий в третьем этаже? – спросил он привратника.

– Он съехал, – ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

– Когда?

– Вчера.

– А где он теперь живет?

– Не знаю.

– Разве он не оставил своего нового адреса?

– Нет.

Привратник вскинул глаза и узнал Мариуса.

– Ах, это вы? – сказал он. – Стало быть, вы и впрямь шпион?

Книга седьмая

Петушиный час

Глава первая.

Рудники и рудокопы

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего или нижнего трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек; иногда это во благо, иногда – во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке Энциклопедия представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей,

кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой. Жан – Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, – этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры – быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого – призраки; люди будущего-личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего – одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии – какие небывалые образы!

Сен-Симон. Оуэн, Фурье – они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, – что не верно, – однако, без сомнения, труд их весьма различен; мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно – бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, а эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком – звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, – другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Inferi.[39]

Дальше уже начинается бездна.

Глава вторая.
Самое дно

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик Сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такие слова, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери – и обе им мачехи – невежество и нищета. У них есть поводырь – их потребности, а взамен всех стремлений – желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой – вот отправная точка; стать Князем тьмы – вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя – Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф – эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат – аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами – улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют, – стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота – Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность – это Мрак.

Человечество – это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех – по крайней мере здесь, на земле – одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится Злом.

Глава третья.
Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание – как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду – и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, – вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен – Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб – один франк пятьдесят сантимов; два зуба – два франка; три зуба – два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что сталось с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире, его окружающем: Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в Вестнике, что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! – воскликнул он. – Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Это его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», – говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош – это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя, – Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос, – он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо, – его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, переваривая́сь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного,

томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на его душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство – это прежде всего праздность; но праздность бедняка – путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, – таков был этот модник подземного мира.

Глава четвертая.
Состав шайки

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах.

Они собирались обычно с наступлением ночи – это был час их пробуждения – на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» – под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» – спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие

прозвища откликались главные участники банды Петушиный час, – эти имена сохранились в особых списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий; он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Огю, негр.

Дай – срок.

Депеша.

Фаунтлерой, он же Цветочница.

Бахвал, отбывшей срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх – тормашки.

Пол – лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что сталось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них – Ambubaiarum collegia, pharmacopolae mendici, mimae[40]. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются – род остается.

Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, все они блюдут чистоту породы Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье!

Книга восьмая

Коварный бедняк

Глава первая.

Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью – как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний; он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина…» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который – что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера – кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь – придет же такая фантазия! – встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» – бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого

человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно – человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, – говорил он себе, – это проста сходство».

Глава вторая.
Находка

Мариус по-прежнему жил в лачуге Гербо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое Сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двустишие, ставшее классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет, —

Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо – увы, таково несовершенство самой идеальной любви! – пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Ворчунья мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

– Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь задаром!

Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурив голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях – одну высокую и худую, другую поменьше; тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге; девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

– Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

– Я их заметила, – сказала другая. – И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса; мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли.

Мариус приостановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», – подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! – подумал он. – Еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути».

Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

«Как мрачна стала моя жизнь! – говорил он себе. – Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде „то были ангелы, а теперь ведьмы".

Глава третья.
Четырехликий

Вечером, раздеваясь перед сном, мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть, – возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило дешевым табаком.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме э…»

Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, а раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его.

Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня!

Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть.

Милостивая государыня,

Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом э 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня!

К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищите.

Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ощасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия – Овернь в эпоху Империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитаится в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняит положение при каждом дуновении ветра.

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствии зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация пресвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушаит мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедствинное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.

Жошфло, литиратор.

P.S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить…»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот каково содержание этого немногословного письма:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедствинного положения, а я представлю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сальные душевные движения.

Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращатся за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех разных лиц – дона Альвареса, тетушки Баливар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с. тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение – и это делало догадку еще более вероятной – все четыре были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки: литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Скорее всего, это были просто ненужные бумаги.

Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

У него не было никакого ценного имущества; лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», – говорила мамаша Ворчунья. «А что у меня красть?» – отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Ворчуньи, у него украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо.

– Войдите, – сказал Мариус.

Дверь отворилась.

– Что вам угодно, мамаша Ворчунья? – спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

– Извините, сударь, – ответил чей-то незнакомый голос.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус живо обернулся и увидел девушку.

Глава четвертая.
Роза в нищете

В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода; с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех

слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

– Что вам угодно, сударыня? – спросил он девушку.

– У меня письмо для вас, господин Мариус, – ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Ее всю трясло от холода.

Она протянула Мариусу письмо.

Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед!

Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себе надеждой, что ваше велнкадушное сердце разжалобится вследствии этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щидрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

P. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера; оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь было пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей – и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту – у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли – туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, – а это, несомненно, были они, – он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе

вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку-профессионала и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ – ни девочек, ни девушек, ни женщин, – двух порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комоде принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

– Смотри-ка, да тут зеркало! – вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности н привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

– Ах, книги! – сказала она.

В ее тусклых глазах блеснул огонек.

– Я тоже умею читать, – добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, – стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

– «…Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо…»

Она остановилась.

– А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо – там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

– И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

– Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь. – И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

– Ошибок нет, – бросив перо, заявила она. – Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы…

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорби:

– Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,

В доме хлеба нету.

Холодно, мамаша,

Мы совсем раздеты.

Дрожи,

Нанетта,

Рыдай,

Жанетта!

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

– Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

– А знаете, господин Мариус, вы красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться. Она подошла и положила ему руку на плечо.

– Вы не обращаете на меня никакого внимания, – продолжала она, – а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но, кроме хрипа, у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

– У меня тут пакет, – сказал он своим обычным холодным тоном. – Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт с четырьмя письмами.

Девушка захлопала в ладоши.

– И где мы только его не искали! – воскликнула она.

Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая:

– Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совсем без надобности, ну мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А как вы догадались, что они мои? Впрочем, понятно – по почерку! Значит, это мы на вас налетели

вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме! Я спросила сестру: «Это кто – мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

– Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне! Очень кстати. Пойду снесу – может, даст на завтрак.

И снова засмеявшись, пояснила:

– Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед – и все в один присест! Так-то! Черт побери! А если вам этого мало, так и подыхайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

– Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора Богоматери, мерещится, будто белые стены – это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации, – кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь – слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь!

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, – подумал он, – а завтра будет видно». Оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Девушка схватила монету.

– Здорово! Вот нам и засветило солнышко! – воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

– Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малек! Как тут не втюриться! Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, – жареного, пареного! Ешь, пей, сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

– До свидания, сударь! Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

– Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь!

Потом ушла.

Глава пятая.
Потайное оконце, указанное провидением

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину,

ничего не видел, – надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, – надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри – светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых – женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость-эта эпидерма души, – все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки – все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, – каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом – роковым словом «отверженные». Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль, – а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, – Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса, все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в

этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже. чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», – подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

Глава шестая.
Хищник в своем логове

В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно – иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво – иначе говоря, прекрасно. И тут н там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам – вот и вся мебель, четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца – вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены – все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей известке На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье, впрочем, в комнате был камин, потому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «СОН». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях; женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка, в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью:

Моренго
Аустерлис
Иена

Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она доходила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид – отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определял бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал, вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ, 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова:

– Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, неудачников – чего с ними церемониться! – закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

– Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно бледную долговязую девочку, – она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, конечно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета – рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят

двенадцатилетними, в шестнадцать – двадцатилетними. Сегодня – девочка, завтра – женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо трудом: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень – спутница отчаяния и предвестница смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, – это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветною нужду.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

– Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Этот вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

– Успокойся, дружок! – промолвила она. – Не огорчайся, душенька! Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности люди жмутся другу к другу, точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувство. Уста говорили «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

Глава седьмая.
Стратегия и тактика

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум; это удержало его.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел, она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:

– Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

– Кто идет? – спросил отец.

– Тот господин.

– Филантроп?

– Да.

– Из церкви святого Иакова?

– Да.

– Тот самый старик?

– Да.

– И он придет?

– Сейчас. Следом за мной.

– Ты уверена?

– Уверена.

– В самом деле придет?

– Едет в наемной карете.

– В карете! Да это настоящий Ротшильд!.

Отец встал.

– Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

– Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, – ответила дочка. – Слушай: вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» «Я провожу вас, сударь», – говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо.

– Откуда же ты взяла, что он приедет?

– Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

– А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

– Да ведь я же заметила номер!

– Ну-ка, скажи, какой?

– Четыреста сорок.

– Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

– Может быть, и не дура, но только я не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, – во-первых, в них простудиться можно, а потом грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу: чав, чав, чав! Уж лучше буду босиком ходить.

– Верно, – ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки, – но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен, – добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: – Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

– За мной по пятам едет, – сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

– Слышишь, жена? – крикнул он. – Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

– Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

– На дворе холодно? – спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

– Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал:

– Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.

– Выбивай стекло! – повторил он.

Она застыла в изумлении.

– Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! – снова крикнул отец.

Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки. – Хорошо, – сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

– Что это ты задумал, голубчик?

– Ложись в постель! – последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать.

В углу послышался плач.

– Что там еще? – закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда она забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут настал черед матери. Она вскочила с криком:

– Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

– Тем лучше, это было мною предусмотрено, – сказал муж.

– То есть как тем лучше? – завопила женщина.

– Молчать! Я отменяю свободу слова, – объявил отец.

Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

– Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце Сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться. нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

– Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

Глава восьмая. Луч света в притоне

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

– Пощупай, как я озябла!

– Подумаешь! Я озяб еще больше, – ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

– Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

– Заткнись! – сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала:

– Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

– Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! – крикнул отец и обратился к старшей: – Дьявольщина, его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

– И дочурку поранил! – прошептала мать.

– Известно ли вам, – продолжал отец, – что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, – одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но денег-то они как раз и не дают! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и хорошенько встряхнуть! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, так-то лучше! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина…

Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

– Входите, сударь! Окажите честь войти, глубокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вотпоявилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после долгих поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек. Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый. Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

Глава девятая.
Жондрет чуть не плачет

В конуре было темно, и всякий входивший сюда с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

– Сударь! Здесь, в свертке, вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

– Посланец божий, благодетель наш! – воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

– Ну? Что я говорил? Обноски! А денежки где? Все господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

– Фабанту, – отвечала дочь.

– Драматический актер, великолепно. Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

– Я вижу, что вы в плачевном положении, господин…

– Фабанту, – быстро подсказал Жондрет.

– Господин Фабанту, да, так… Вспомнил.

– Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

– Я ученик Тальма, сударь! – воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничижение нищего с проезжей дороги. – Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой: нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую погоду! Супруга в постели! Больна!

– Бедняжка! – сказал г-н Белый.

– И дочурка поранилась, – добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

– Плачь! Реви! – сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

– Бедная детка!

– Взгляните, милая барышня, – продолжал Жондрет, – у нее рука в крови! Несчастный случай, – попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку!

– Неужели? – встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее.

– Увы, это так, благодетель! – ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей:

– Вглядись-ка в него получше!

Затем он обернулся к г-ну Белому, и опять полились его плаксивые жалобы:

– Подумайте, сударь, вся моя одежда – женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые холода. Не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь! Я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас… Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Только попробуйте ослушаться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери:

– Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!

В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

– Господин Фабанту! – сказал он – У меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны уплатить вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить:

– Да, глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

– Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

– Благодетель! – в восторге завопил Жондрет.

И чуть слышно добавил:

Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери.

– До вечера, друзья мои! – сказал он.

– В шесть часов? – переспросил Жондрет.

– Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

– Сударь! Вы забыли ваш редингот, – сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

– Я не забыл, я нарочно оставил его.

– О мой покровитель! – воскликнул Жондрет. – Мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра.

– Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук, – сказал г-н Белый. – На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый редингот.

Они вышли втроем. Жондрет впереди, за ним посетители.

Глава десятая.

Такса наемного кабриолета: два франка в час

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. ОН не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание – следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку

и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, – Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать… Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут – чудесная, неслыханная случайность! – Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж.

– Почасно! – крикнул он.

Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

– Что такое? – спросил Мариус.

– Плата вперед, – сказал кучер.

Мариус вспомнил, что у него было всего шестнадцать су.

– Сколько? – спросил он.

– Сорок су.

– Уплачу по приезде.

Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру несчастной дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он вновь связал бы черною нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же Весенний, он же Гнус; на него как-то указал ему Курфейрак; в квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя: Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал.

Глава одиннадцатая.
Нищета предлагает услуги горю

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку, – ведь именно к ней и перешли его пять франков, – но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители; очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась плотно; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

– Что такое? Кто там? – спросил он и увидел дочь Жондрета.

– Это вы? – почти грубо продолжал Мариус. – Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, – Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

– Отвечайте же! – воскликнул Мариус. – Что вам от меня нужно!

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала:

– Господин Мариус! У вас такой печальный вид! Что с вами?

– Со мной?

– Да, с вами.

– Ничего.

– Что-то все-таки есть!

– Нет.

– А я говорю – есть.

– Оставьте меня в покое.

Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее.

– Слушайте, это вы зря, – сказала она. – Вы небогаты, а какой были добрый утром! Ну станьте опять таким! Вы мне дали на пропитанье. Скажите же: что с вами? Вы огорчены, это

сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу! Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, – посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

– Послушай… – сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули:

– Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

– Хорошо, – продолжал он. – Ведь это ты привела сюда старика с дочкой…

– Да.

– Ты знаешь их адрес?

– Нет.

– Узнай мне его.

Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным.

– Только это вам и надо? – спросила она.

– Да.

– Вы с ними знакомы?

– Нет.

– Иначе говоря, – живо перебила его девушка, – вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью.

– Ну как? Сумеешь? – спросил Мариус.

– Я добуду вам адрес красивой барышни.

Тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:

– В конце концов не важно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально посмотрела на него.

– Что вы мне за это дадите?

– Все, что пожелаешь.

– Все, что пожелаю?

– Да.

– Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния, – вот что проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

– Говорят тебе, я уверен! Я его узнал.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

Глава двенадцатая.
На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочки успели вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо, потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

– Неужели правда? Ты уверен?

– Конечно, уверен! Прошло восемь лет. И все-таки я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

– Нет.

– Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, – некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, – ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись!

Он остановился, крикнул дочерям:

– Эй, вы, убирайтесь отсюда! – И, обращаясь к жене, добавил: – Чудно, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

– С больной рукой!.. – пробормотала мать.

– Воздух ей на пользу, – отрезал Жондрет. – Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал:

– Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобитесь.

Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

– Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица…

– Ну? Что такое? – подхватила жена. – Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил:

– Это она!

– Вот эта? – спросила жена.

– Вот эта! – подтвердил муж.

Трудно передать выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «вот эта». Удивление, ярость, ненависть, злоба – все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

– Быть не может! – закричала она. – И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки – словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Дама, да и только! Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а эта недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

– А я тебе говорю – она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы.

– Вот как, – прошипела она. – Значит, эта расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

– А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

– Ну что? – спросила она.

– Да то, что я теперь богач, – ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

– Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, – мой, вот что! Пока не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

– Не хуже иных прочих.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросила жена.

Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

– Что я хочу сказать? Слушай!

– Тсс… – заворчала тетка Жондрет. – Потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

– Вот еще! Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка? А потом, я тебе говорю, что он ушел.

Тем не менее Жондрет инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что услышал Мариус:

– Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается.

– А вдруг не расквитается? – спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

– Тогда мы расквитаемся с ним.

И засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

– Ну, я ухожу, – сказал он. – Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

– А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня – ни за что бы не пришел! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И он опять засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

– Собачья погода! – сказал он и, запахнув редингот, добавил: – Эта шкура немного широковата. Ну ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!

Нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

– Совсем забыл, – сказал он. – Приготовь жаровню с угольями.

Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

– Жаровню с углем? – переспросила жена.

– Да.

– Сколько мер угля купить?

– Две с верхом.

– Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

– К черту обед!

– Почему?

– Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су.

– Почему?

– Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

– Что же?

– Да так, кое-что.

– Сколько тебе на это потребуется?

– Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

– На улице Муфтар.

– Ах, да, на углу, знаю!

– Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки?

– Пятьдесят су, а может, и все три франка.

– Не много остается на обед.

– Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

– Как знаешь, мое сокровище.

Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице.

На Сен-Медарской колокольне пробило час.

Глава тринадцатая.

Solus cum sola. In loco remoto, non cogitabuntur orare «pater noster»[41]

Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность негодовать; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; его глазам предстало гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев», – подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка, – непонятная, но ужасная ловушка; что над ними обоими нависла огромная опасность: над девушкой – возможно, над стариком – несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно, бесшумно спустился с комода.

Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда

тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось одно.

Он надел сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок тетка Жондрет продолжала громыхать железом.

Выйдя из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустырь низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришло в голову заглянуть за ограду.

Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, другой – лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запушил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

– Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

– Так ли? – усомнился бородач.

– Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, – ну, по десять, не больше! – возразил лохматый.

– Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься, – стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке.

– А я тебе говорю, что промашки не будет, – настаивал лохматый. – Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гете.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь субъектов, подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо на снегу, возможно, имеет некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме э 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

Глава четырнадцатая.

Полицейский дает адвокату два карманных пистолета

Подойдя к дому э 14 на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

– Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии, – сказал один из писарей. – но его заменяет надзиратель. Может быть, вы поговорите с ним? У вас спешное дело?

– Да, – ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

– Что вам угодно? – обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

– Вы – господин полицейский пристав?

– Его нет. Я его заменяю.

– Я по весьма секретному делу.

– Говорите.

– И весьма срочному.

– Говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что человека, которого он, Мариус, знает лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности, «хозяева застав», в том числе Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, потому что даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме э 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

– Комната в конце коридора?

– Совершенно верно, – подтвердил Мариус и добавил: – Разве вы знаете этот дом?

Надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

– По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, обращаясь не столько к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

– Тут без Петушиного часа не обошлось. Его слова поразили Мариуса.

– Петушиный час… – повторил он. – В самом деле, я слышал эти слова.

Он рассказал надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, на снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

– Лохматый – должно быть, Брюжон, а бородатый – Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

– Ну, а насчет папаши Бесфамильного, – присовокупил он, – я тоже догадываюсь… Так и есть, я подпалил каррик!.. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят-пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо. Он взглянул на Мариуса:

– Вы видели только бородача и лохмача?

– И Крючка.

– А этакого молоденького франтика?

– Нет.

– А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

– Нет.

– А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

– Нет.

– Ну, а четвертый – тот вообще невидимка, даже для своих помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

– Действительно, не заметил. А что это за люди? – спросил Мариус.

– Впрочем, это совсем не их час… – вместо ответа сказал надзиратель.

Он помолчал, потом заговорил снова:

– Пятьдесят – пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются тем, что отменят водевиль. Это народ скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

– Вы боитесь?

– Кого?

– Этих людей?

– Не больше, чем вас, – мрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик ни разу не назвал его сударем.

Надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какой-то нравоучительной торжественностью:

– Вы говорите, как человек смелый и честный. Мужество не страшится зрелища преступления, честность не страшится властей.

– Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? – прервал его Мариус.

Надзиратель ограничился таким ответом:

– У всех жильцов дома пятьдесят – пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

– Да, – ответил Мариус.

– Он при вас?

– Да.

– Дайте его мне, – сказал надзиратель.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

– Послушайтесь меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, запустив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолета, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

– Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда решите, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок –

все равно куда. Главное – не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы – адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

– Очень топорщится, сразу заметно. Лучше суньте их в жилетные карманы, – сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

– А теперь, – продолжал надзиратель, – нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

– К шести, – ответил Мариус.

– Время у меня есть, – сказал надзиратель, – а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

– Будьте покойны, – ответил Мариус.

Когда он взялся за ручку двери, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

– Кстати, если я вам понадоблюсь раньше, приходите сюда или пришлите кого-нибудь. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

Глава пятнадцатая. Жондрет делает закупки

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак и Боссюэ шли по улице Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

– Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, – начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, – тот шел к заставе, и вид у него был какой-то странный.

– Смотри-ка! Мариус! – воскликнул Боссюэ.

– Вижу, – сказал Курфейрак. – Только не стоит с ним заговаривать.

– Почему?

– Он занят.

– Чем?

– Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

– Какое?

– Да такое, будто он кого-то выслеживает.

– Верно, – согласился Боссюэ.

– А какие у него глаза! – заметил Курфейрак. – Ты только взгляни на него.

– Какого же черта он выслеживает?

– Какой-нибудь помпончик-бутончик. Он влюблен.

– Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, – заметил Боссюэ. – Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса.

– Мариус выслеживает мужчину! – воскликнул он.

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, длинный, не по его росту, редингот и ужасные рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюэ расхохотался.

– Это еще что за тип, а?

– Поэт, – заявил Курфейрак, – безусловно поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками и в редингтотах пэров Франции.

– Давай посмотрим, куда направятся Мариус и этот человек, – предложил Боссюэ. – Выследим их, идет?

– О Боссюэ! – воскликнул Курфейрак. – Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое тут же спрятал под своим редингтотом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и немного погодя был уже на Малой Банкирской улице. День склонялся к вечеру, снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время близилось к вечеру; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал ключ надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело; на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка – то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому э50/52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки; все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные угасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть – он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

Глава шестнадцатая,
в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, – так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство,

с другой – надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием, из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день – лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой.

У Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было ясно, что этот луч – не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха, – там царила леденящая душу, глухая тишина; и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грузные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору; со стуком приподнялась щеколда: это вернулся Жондрет.

Сразу послышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

– Вот и я, – сказал Жондрет.

– Добрый вечер, папочка! – завизжали дочки.

– Ну как? – спросила жена.

– Помаленьку, – отвечал Жондрет, – но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

– Я готова, могу идти.

– Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Вес сделаешь, как надо?

– Будь спокоен.

– Дело в том.. – сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности – купленное им долото.

– Кстати, вы уже поели? – спросил Жондрет.

– Да, – ответила жена. – У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла, – спасибо, огонь еще был.

– Отлично, – сказал Жондрет. – Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

И, понизив голос, добавил:

– Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

– Сунь-ка это в огонь.

Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом.

– Дверные петли смазала, чтобы не скрипели? – спросил Жондрет.

– Да, – ответила жена.

– Который теперь час?

– Скоро шесть. Недавно пробило половину шестого на Сен-Медаре.

– Черт возьми! – воскликнул Жондрет. – Девчонкам пора идти караулить. Эй вы, идите-ка сюда, слушайте!

Они зашушукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

– Бюргонша ушла?

– Да, – ответила жена.

– Ты уверена, что у соседа никого нет?

– Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

– Ты в этом уверена?

– Уверена.

– Все равно, – сказал Жондрет, – невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях просочился свет.

– Па-ап, его нет! – раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

– Ты входила в комнату? – спросил отец.

– Нет, – ответила дочь, – но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

– А все-таки войди! – крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,

И, право, стоило, чтоб он н впредь не гас!

Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!

Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

– Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

– Ну что же ты? – крикнул отец. – Куда запропастилась?

– Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, – отвечала она, взбивая волосы. – Никого.

– Дуреха! – заревел отец. – Сейчас же сюда! Нечего время терять.

– Иду! Иду! Им вечно некогда! – сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,

Но сердцем горестным везде я там, где вы…

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

– Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой – угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас.

Старшая проворчала:

– Попробуй покарауль босиком на снегу!

– Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! – сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались Мариус, чета Жондретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустовавшей каморки.

Глава семнадцатая.
На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.

Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, – той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста – одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки – те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между редингота и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет возвысил голос:

– Постой! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

– А деньги где? – спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

– Это еще откуда? – воскликнула она.

– Тот лобанчик, что дал утром сосед, – с важным видом ответил Жондрет и прибавил: – Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

– Зачем?

– Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

– Ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор.

Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

– Возьми свечу! – крикнул Жондрет вдогонку.

– Не надо, – сказала она, – только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

– Вот тебе стулья.

– А вот и фонарь, – сказал муж. – Спускайся, живо!

Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного дома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета; очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил.

«Это кузнечные инструменты», – подумал Мариус.

Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудия кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты – два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой; от самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе висело ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть – верный признак озабоченности – и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок.

Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск.

Жондрет вздрогнул и привстал.

– Кто там? – крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил смеясь:

– Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

Глава восемнадцатая.
Два стула Мариуса ставятся один против другого

Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда послышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» – пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабляясь отвратительной льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

– Милости просим, сударь! – сказала она.

– Милости просим, благодетель вы наш! – вскочив, подхватил Жондрет.

Появился Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

– Господин Фабанту! – заговорил он. – Вот вам на квартиру и на неотложные расходы. А дальше будет видно.

– Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! – вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал:

– Отошли фиакр.

Покуда ее муж кланялся и пододвигал стул Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо:

– Отослала!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как подкатил фиакр и как он отъехал.

Белый сел.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны, огоньки уличных фонарей, бросавшие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; дом Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе – двух человек, сидевших за одним столом: Белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой – невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Мариус не испытывал страха; им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», – думал он.

Он знал, что полиция близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

Глава девятнадцатая.
Остерегайтесь темных углов

Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, Белый спросил:

– Как себя чувствует бедное раненое дитя?

– Плохо, – отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, – очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

– А госпоже Фабанту как будто лучше? – продолжал Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя у двери, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

– Она смертельно больна, – заявил Жондрет – Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

– Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

– Жондрет? – удивился г-н Белый. – Я полагал, что вас зовут Фабанту?

– Фабанту, а по сцене – Жондрет, – нашелся муж. – Псевдоним артиста.

Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил Белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом:

– Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь! Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо

министров – честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная, зиявшая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками; лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно.

Повинуясь внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

– Ага, понимаю! – с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы – Вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

– Что это за человек? – спросил Белый.

– Это? – протянул Жондрет. – Это так, сосед. Не обращайте на него внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность Белого говорила о полном доверии, в нем не чувствовалось и тени страха.

– Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

– Я говорил, мой дорогой покровитель, – подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в Белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава, – я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, за теткой Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его.

– Не беспокойтесь, – продолжал Жондрет, – это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина… Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было намалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

– Что это такое? – спросил Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

– Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только г-н Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека – трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо – с голыми руками, неподвижные, с

выпачканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты – кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей.

– Это друзья. Живут по соседству, – сказал он. – Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята-трубочисты. Не стоит обращать на них внимания, благодетель, лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого. Во сколько вы ее оцените?

– Но ведь это вывеска с кабачка, ей цена не больше трех франков, – проговорил г-н Белый, пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрета.

– При вас ли бумажник? – вкрадчивым голосом спросил Жондрет. – С меня довольно будет тысячи экю.

Белый встал во весь рост, прислонился к стене и пробежал глазами по комнате. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа между ним н дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно заскулил, обводя всех блуждающим взглядом, так что Белому могло показаться, будто от нищеты у этого человека помутился рассудок.

– Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, – продолжал ныть Жондрет, – я пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только: ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванью коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще – для дерева, пожиже – для бумаги или для материи, нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток – заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть надо четырнадцать часов. Каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разодевать клей. Проклятая работа! И за все – четыре су в день! Разве на это проживешь?

Причитая, Жондрет не глядел на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза Белого были устремлены на Жондрета, глаза Жондрета – на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительный блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу Белому и крикнул громовым голосом:

– Все это вздор, не в этом дело! Вы меня узнаете?

Глава двадцатая.
Западня

Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную палку, окованную железом; другой, рослый детина, держал за топорище, обухом вниз, топор, какой употребляют для боя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог.

– Все готово? – спросил Жондрет.

– Все, – отвечал тот.

– А где Монпарнас?

– Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

– С которой?

– Со старшей.

– Фиакр стоит внизу?

– Стоит.

– А повозка запряжена?

– Да.

– А пару заложили хорошую?

– Отличную.

– Дожидаются, где я велел?

– Да.

– Ну хорошо, – сказал Жондрет.

Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружавших его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины – нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи громадные ножницы для резки металла, тяжелый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком.

– Итак, вы меня не узнаете?

– Нет, – ответил Белый, глядя ему прямо в глаза.

Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевельнулся, свои тяжелые хищные челюсти и, застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул:

– Я не Фабанту, не Жондрет, я – Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь вы узнаете меня?

Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил негромким, недрогнувшим голосом:

– И теперь не узнаю.

Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выпустили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но

потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного завета, гласившего: «Человек по имени Тенардье спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление, – какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью – как бы заплатить отцовский долг. И вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве под Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, – казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой – так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились перед ним. Если он выстрелит, то спасет Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли властным воспоминаниям, важнейшим обязательствам перед самим собой, священному долгу, святым письменам? Изменить заветам отца или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, и голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье, – впредь мы уже не будем называть его иначе, – в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем он с угрожающим видом повернулся к Белому и зарычал:

– Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

– Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий мильонщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой дочку Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас бил желтый редингот? Скажете – нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него блажь – таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Какой благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля, господин мильонщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, святоша?! Шут гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю вас! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда это проходит даром – забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким платьем и нищенским видом, с каким гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вам не удастся, разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

– Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к Белому:

– Когда-то вы надо мной насмеялись, пропади вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну да не об том речь. Признайтесь: я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка? В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, как погляжу на него! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадмуазель Марс, – подумайте только, с самой мадмуазель Шептуньей! – будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я думал про себя: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того. кому льстило, – счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Белый не прерывал Тенардье. Когда же тот умолк, он сказал:

– Я вас не понимаю. Вы ошибаетесь. Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другою.

– Ага! – захрипел Тенардье. – Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

– Извините, сударь, – ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно, – я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки.

– Эй ты, не суйся! – крикнул он жене и, повернувшись к Белому, разразился длинной тирадой:

– Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, – значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат – сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне, смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Знайте, господин мильонщик: я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы – еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардье подошел к людям, стоявшим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

– Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним сапожник!

Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал:

– Запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался под Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я не расслышал. Я разобрал только мерси. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысячи чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, – погибли, провались я на этом месте!

Мариус справился со своим волнением, он слышал слова Тенардье. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу, – ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек. Его тревога росла. Но в речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуздавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, – во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал Белому купить у него, было просто вывеской его

трактира, им же самим, как мы помним, намалеванной, – единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Тенардье теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Тенардье и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный: картина оживляла перед ним отца; он видел не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его; ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на Белого налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

– Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощеньем?

Белый молчал. В наступившей тишине кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту:

– Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, осклабленное лицо землистого цвета.

Это был человек с топором.

– Ты зачем скинул маску? – в бешенстве заорал на него Тенардье.

– Чтобы посмеяться, – ответил тот.

Уже несколько минут Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому.

Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком – стол и, прежде чем Тенардье успел повернуться, с изумительным проворством, одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать. «Прости меня, отец!» – мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:

– Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

– Не троньте его! – повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, – обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать погибнуть «отцу Урсулы» или погубить человека, спасшего полковника?

Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами. Но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым «трубочистам». Одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, Белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой ищеек и догов.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они и оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье не выпускала из рук его волос.

– Тебе нечего в это путаться! – прикрикнул на нее Тенардье. – Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.

– Обыскать его, ребята! – приказал Тенардье.

Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардье положил платок к себе в карман.

– Неужели нет бумажки? – спросил он.

– Ни бумажки, ни часов, – ответил кто-то из «трубочистов».

– Неважно, – пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. – Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам.

– Привяжите его к изножию кровати, – приказал он и, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом Белого, спросил: – Что, Башка помер?

– Нет, пьян, – ответил Гнус.

– Оттащите его в угол, – распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

– Зачем ты привел столько народу, Бабет? – тихо спросил Тенардье человека с палкой. – Этого не требовалось.

– Не отвяжешься от них, – ответил тот. – Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел.

Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

– Сударь… – начал было Тенардье, но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим Белого, знак удалиться.

– Отойдите. Дайте мне поговорить с господином, – сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

– Сударь! Зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное, поразительное молчание. Тенардье продолжал:

– Да разве бы я нашел неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещеньице. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный: кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, кое-что скрываете. Мы тоже скрываем – стало быть, можно договориться.

Тенардье не сводил глаз с Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; этого негодяя, за минуту до того представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который «готовился в священники».

Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души – в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардье сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал г-ном Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновеньем все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали.

То была душа, недоступная страху, не знающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардье непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардье снова подсел к Белому.

– Итак, пойдем дальше, – сказал он. – Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы мильонщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте: я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал:

– Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков – вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков!» О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого не требуется. Я прошу вас только об одном: не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

– Предупреждаю: никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к Белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед Белым.

– Пишите, – сказал он.

Тут, наконец, заговорил пленник:

– Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

– Совершенно верно, вы правы. Извините! – произнес Тенардье.

Обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

– Развяжите господину правую руку. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и протянул Белому.

– Советую хорошенько запомнить, сударь, – сказал он, – что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

– Что же я должен писать? – спросил пленник.

– Я продиктую.

Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

– «Дочь моя…»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

– Напишите: «Дорогая дочь моя», – продолжал Тенардье. Белый повиновался.

– «…приезжай немедленно…»

Он приостановился:

– Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

– Кому? – спросил Белый.

– Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!

– Я не понимаю, что вы хотите сказать… – ответил Белый без малейших признаков волнения.

– Пишите, пишите, – оборвал его Тенардье и опять принялся диктовать:

– «Приезжай немедленно. Ты мне очень нужна. Особе, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

– Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Белый зачеркнул эти три слова.

– А теперь, – продолжал Тенардье, – подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

– Кому предназначается это письмо?

– Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Я же вам сказал.

Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

– Подпишитесь. Как вас зовут? – повторил он.

– Урбен Фабр, – сказал пленник.

Тенардье кошачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

– У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

– Одной рукой письма не сложить, – сказал Тенардье. – Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадмуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал: «Мадмуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, э 17».

Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо.

– Жена! – позвал он.

Жена подбежала.

– Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Поезжай и живо назад.

Обратившись к человеку с топором, он распорядился:

– А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку?

– Помню, – ответил тот.

Поставив топор в угол, он последовал за теткой Тенардье.

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

– Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

– Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, – отвечал сиплый голое супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута оно становилось все тише и вскоре совсем замерло.

– Отлично, – пробормотал Тенардье. – Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог.

– Ноги у меня совсем закоченели, – сказал он.

Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Тенардье.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл еще «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснения буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее обстоятельство особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять решение.

«Во всяком случае, – думал он, – если Жаворонок – это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь.

Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен мрачными мыслями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий, приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

– Господин Фабр! – вдруг обратился к пленнику Тенардье. – Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

– Потерпите немного, – продолжал Тенардье. – Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок – на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

– Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:

– Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: «Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка».

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелился.

– А вот и хозяйка, – сказал Тенардье.

Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом, и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

– Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

– Фальшивый адрес? – переспросил Тенардье.

– Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает!

Тетка Тенардье остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

– Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты слишком добр! На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться – живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись до меня, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать – никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонек, – та, имя которой он теперь не сумел бы уже назвать, – была спасена.

Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

– Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся?

– Выиграть время! – крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился, Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в доме Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, – одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке – Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью ножичка или старого долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета завинчивается и развинчивается; это – коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при обыске в логове Тенардье. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняются легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты опомнились от испуга.

– Не беспокойся, – обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, – одна нога у него привязана, и ему не уйти. Могу ручаться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысил голос пленник:

– Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то…

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

– Вот, глядите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

– Несчастные! – сказал он. – Я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

Резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, остававшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

– Делайте со мной, что угодно, – продолжал пленник.

Теперь он был безоружен.

– Держите его! – крикнул Тенардье.

Два бандита схватили пленника за плели, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса:

– Остается одно.

– Укокошить?

– Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил глазами, – к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Внезапно он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:

Легавые пришли.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.

И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

– Что-то упало! – крикнула тетка Тенардье.

– Что такое? – спросил Тенардье.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу.

– Как он сюда попал? – удивился Тенардье.

– А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, – объяснила жена.

– Я видел, как он влетел, – заявил Гнус.

Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.

– Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та подскочила, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение:

– Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

– Не свернув ему шею? – спросила тетка Тенардье.

– Теперь некогда этим заниматься.

– А как будем уходить? – задал вопрос Гнус.

– Через окно, – ответил Тенардье. – Раз Понина бросила камень в окно – значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Как только лестница была прилажена, Тенардье крикнул:

– Хозяйка, идем!

И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус схватил его за шиворот.

– Нет, шалишь, старый плут! После нас!

– После нас! – зарычали бандиты.

– Перестаньте дурачиться! – принялся увещевать их Тенардье. – Мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

– Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, – предложил один из бандитов.

– Да что вы, рехнулись? Спятили? – завопил Тенардье. – Видали олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?

– Не пригодится ли вам моя шляпа? – крикнул с порога чей-то голос.

Все обернулись. Это был Жавер.

Он, улыбаясь, протягивал свою шляпу бандитам.

Глава двадцать первая.
Всегда надо начинать с ареста пострадавших

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на заставе Гобеленов, против дома Горбо, по ту сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» только Азельму. Эпонины на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать Покончив с этим, Жавер уже не выходил из засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение, он узнал кое-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер подоспел как раз вовремя.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с палкой, остальные – кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье – сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

– Стой, ни с места! – крикнул он. – Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:

– Это – Жавер. Ты как хочешь, а я в него стрелять не могу.

– Плевать я на него хотел, – ответил Тенардье.

– Ну что ж, стреляй.

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и сказал:

– Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.

– Я ведь тебе говорил, – заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера палку.

– Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

– А вы? – обратился Жавер к остальным бандитам.

– Мы тоже, – последовал ответ.

– Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил – надо по-хорошему, – спокойно добавил Жавер.

– Я прошу одного, – снова заговорил Гнус, – пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

– Хорошо, – ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

– Войдите!

Постовые, с саблями наголо, и полицейские, вооруженные кастетами и короткими дубинками, ввалились в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном только свечой, стало совсем темно.

– Всем наручники! – распорядился Жавер.

– А ну, подойдите! – раздался вдруг чей-то, не мужской, но и не женский, голос.

Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

– Берегитесь! – крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и хриплым, гортанным голосом пробормотала:

– У-у, трусы!

Жавер усмехнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.

– Не подходи! Не то расшибу! – завопила она.

– Экий гренадер! – сказал Жавер. – Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер пригнулся. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая на голову супруга.

– Наручники! – крикнул он.

Полицейские гурьбой бросились к нему, и приказание Жавера было исполнено.

Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

– Дочки, мои дочки!

– Они за решеткой, – объявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

– Уже успели управиться, Жондрет? – пробормотал он спросонья.

– Да, – ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения, трое сохраняли свою черную размалевку, трое других – маски.

– Масок не снимать, – распорядился Жавер. Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

– Здорово, Гнус! Здорово, Башка! Здорово, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

– – Здорово Живоглот!

Человека с палкой:

– Здорово, Бабет!

А чревовещателя:

– Здравия желаю, Звенигрош!

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.

– Отвяжите господина, и не уходить! – приказал он.

Потом он с важным видом сел за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

– Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись.

– В чем дело? Где же он? – спросил Жавер.

Но пленник бандитов, – г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, – исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

– Экая чертовщина! – процедил сквозь зубы Жавер – Видно, этот был почище всех.

Глава двадцать вторая.
Малыш, плакавший во второй части нашей книги

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел. распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил.

– Вот тебе раз! – крикнул он. – А я-то думал, что это большущая-пребольшущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

– У, висельник! – заворчала она. – Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

– Куси, куси! – поддразнил он. – Ну если так, то я, пожалуй, не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

– Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, распевая:

Король наш Стуконог,

Взяв порох, дробь и пули,

Пошел стрелять сорок.

Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому э 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут.

Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

– Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! – орала она.

Удары не прекращались.

– Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? – надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала гамена.

– Да ведь это же наш дьяволенок!

– А! Да ведь это же наша бабка! – сказал мальчик. – Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства: то была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости.

– Никого нет, бесстыжая твоя рожа, – сказала старуха.

– Вот тебе раз! – воскликнул мальчик. – А где же отец?

– В тюрьме Форс.

– Смотри-ка! А мать?

– В Сен – Лазаре.

– Так, так! А сестры?

– В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

– Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услыхала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру:

Король наш Стуконог,

Взяв порох, дробь и пули,

Пошел стрелять сорок,

Взобравшись на ходули.

Кто проходил внизу,

Платил ему два су.

Часть IV

«Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени»

Книга первая

Несколько страниц истории

Глава первая.

Хорошо скроено

Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет – как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо – усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, она была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного – мира; у всех одно притязание – умалиться. Это означает – жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди, – нет, покорно благодарим, навидались мы их, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, – это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение! Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обагренная кровью, она выживает. Революция – не случайность, а необходимость. Революция – это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения – отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, – за недостатком логики; они нападали на революцию в ее королевском обличий. Они ей кричали: «Революция! А зачем же у тебя король?» Старые партии – это слепцы, которые хорошо целятся.

Республиканцы кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир – значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир – разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле сотого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению соответствовало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва – то есть народ, – изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые – в одиночестве, другие – объединившись в дружные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие – вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли почти на высоту религии. В цивилизации, такой, какою она создается, – отчасти богом и, гораздо больше, людьми, – интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием – социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема создать материальные богатства.

Вторая проблема распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая-вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй – о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства – справедливость.

Из соединения этих двух начал – мощи общества вовне и личного благоденствия внутри – рождается социальное процветание.

Социальное процветание означает – счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага – одним, все лишения – другим, то есть народу, причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого труда Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях

отдельной личности. Это – дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильности решениях. Уничтожить богатство – не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия, – материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет возможность падать и погибать всякому себялюбию, всему, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный строй – олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ – бессмертна. Отметив это, пойдем дальше.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно работе, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая работу рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему, неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу – все это поглощало Луи-Филиппа почти мучительно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

У него было тревожное ощущение, что почва под ним колышется, однако она еще была твердой, так как Франция оставалась Францией более чем когда-либо.

Темные, сгрудившиеся тучи облегали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, – тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание – столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому дотоле неведомый, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж – Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных – Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы, Англия – эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской Богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства – одна в городе мысли, другая в городе труда; в Париже война гражданская, в Лионе – война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени, багровый свет извергающегося вулкана на челе народа, пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера – все это прибавляло к слитному гулу идей сумятицу событий.

Глава пятая.
Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые

К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, – признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными – как ни странно применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты поклялся! Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су – вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди „хорошо одетые, по виду буржуа‟, „сеяли смуту‟ и, держась „распорядителями‟, пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Все готово. „Об этом твердили все, кто был там‟, – как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: У нас нет оружия! Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к Итальянской армии, ответил: Оружие есть у солдат! „Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, – прибавляет один из рапортов, – то там они ее не сообщали друг другу‟. Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие – потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция.

У кабатчика, что напротив улицы Щарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно вовсю делают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец.

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы…». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «…Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «Выбор возможен один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа – вот в чем вопрос. Другого не существует». «В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: Я бабувист! Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Этот человек говорил:

– Долой собственность! Левая оппозиция – это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы – мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

– Молчать, гражданин шпик! – крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», и тот его спросил: «Куда идешь, гражданин?» «Я не имею чести вас знать, сударь», – ответил рабочий. «Зато я тебя хорошо знаю, – сказал тот и прибавил: – Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай: если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят. – Он пожал рабочему руку и, сказав: – Мы скоро увидимся», – ушел.

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

– Постарайся получить поскорей, – говорил ткач краснодеревцу.

– Почему?

– Да придется пострелять.

Двое оборванцев обменялись следующими примечательными словами, отдававшими жакерией:

– Кто нами правит?

– Господин Филипп.

– Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки – это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден.

Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле Тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

– Кто ваш руководитель? – спросили его.

– Я не знал да и не разузнавал, кто он. Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки:

«…Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ…»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер э 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что намного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа:

|К|Ц|Д|Р|Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того как вы передадите им приказания.
Привет и братство.
Л.
ю ог а фе*

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв – это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики, а буквы ю ог а* фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями: «К – Банерель, 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц – Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д – Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р – Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор, 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел внутри той же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список:

Единство. Вланшар. Арбр-Сек, 6.
Барра. Суаз. Счетная палата.
Костюшко. Обри-Мясник?
Ж. Ж. Р.
Кай Гракх.
Право осмотра. Дюфон. Фур.
Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.
Вашингтон. Зяблик, 1 пиет. 86 патр.
Марсельеза.
Главенст. народа. Мишель, Кенкампуа, Сабля.
Гош.
Марсо. Платон. Арбр-Сек.
Варшава. Тилли, продавец газеты Попюлер.

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела.

На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра 12 унций

Сера 2 унции
Уголь 2 с половиной унции
Вода 2 унции

Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку с патронами.

Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать: тот обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели; в руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался.

Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя были роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало. «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед – маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так Плювиоз, год 40-й республиканской эры, – общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия:

Пики.

Набат.

Сигнальная пушка.

Фригийский колпак.

21 января.

Нищие.

Бродяги.

Робеспьер.

Нивелир.

Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности. Народное образование. Борьба с косвенными налогами. Затем Общество рабочих – поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью – сержант, двадцатью – младший лейтенант, четырьмя десятками – лейтенант; здесь знали друг друга не больше чем пять человек. Это выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе центральный комитет имел две руки – Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский Союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества Прав человека. Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды – в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми; об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывка допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? – На улице Мира – У кого? – На улице. – Какие секции были там? – Одна. – Какая? – Секция Манюэль. – Кто был ее руководителем? – Я. – Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? – Из центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающая нищета; там же можно

было найти людей пылкого и редкого ума. А именно нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей.

У предместья Сент-Антуав были и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда – и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания н мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин священные дуновения, – на те таверны, где столы были подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином.

Сент-Антуанское предместье – это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens.[42]

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей… Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, – мы это признаем, – но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, – мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути – в этом вся политика бога.

Глава шестая.

Анжольрас и его помощники

Незадолго до этого Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен».

Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

– Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, доведем сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда – у них день отдыха. Фейи! Вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баорель посетит Эстрападу. Прувер! Масоны охладевают. Ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь Кугурдой.

– Значит, все в порядке, – сказал Курфейрак.

– Нет.

– Что же еще?

– Очень важное дело.

– Какое? – спросил Курфейрак.

– Менская застава, – ответил Аижольрас.

Он помедлил, как бы раздумывая, потом заговорил снова:

– У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

– А я? – сказал Грантер. – Я-то ведь здесь!

– Ты?

– Я.

– Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

– Почему же нет?

– Да разве ты на что-нибудь годишься?

– Но я некоторым образом стремлюсь к этому.

– Ты ни во что не веришь.

– Я верю в тебя.

– Грантер! Хочешь оказать мне услугу?

– Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

– Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай абсент.

– Анжольрас! Ты неблагодарен.

– И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты на это способен?

– Я способен пойти по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать по Старому Тюильри, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому шоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен. И мои сапоги тоже способны.

– Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

– Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

– Что же ты им скажешь?

– Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

– Ты?!

– Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен Общественный договор, я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

– Будь посерьезнее, – сказал Анжольрас.

– Уж куда серьезнее! – ответил Грантер.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову с видом человека, который принял решение:

– Грантер! – сказал он значительно, – Я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел н вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

– Красный, – сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

– Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и удалился. Четверть часа спустя дальняя комната в кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись по своим делам. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась длинная пороховая дорожка – его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи – этого гражданина мира, с пылом

Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, – все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантере. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге, – сказал он себе. – Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником.

Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору. Вот что услышал Анжольрас:

– Два раза шесть.

– Четверка.

– Свинья! У меня таких нет.

– Ты пропал. Двойка.

– Шесть.

– Три.

– Очко!

– Мне ходить.

– Четыре очка.

– Неважно.

– Тебе ходить.

– Я здорово промазал.

– Ты пошел правильно.

– Пятнадцать.

– И еще семь.

– Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!

– Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.

– Та же двойка.

– Очко!

– Очко? Так вот тебе пятерка.

– У меня нет.

– Ты же ее как будто выставил?

– Да.

– Пустышка.

– Ну и везет тебе! Да… Везет! (Длительное раздумье.) Двушка.

– Очко!

– Проехал. Не надоело еще?

– Кончил!

– Ну и черт с тобой!

Книга вторая

Эпонина
Глава первая.
Жаворонково поле

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно предоставляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Ворчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать! – восклицала она, болтая с соседними привратницами. – Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое – испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличий, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе – его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к току времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» – раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» – спрашивал себя Тенардье.

Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, – неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: она не Урсула – «Жаворонок» – прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый одно и то же лицо. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог

ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе с тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти Он не говорил себе «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это? Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь обрисована несколькими словами полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, в общем, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление – работа ума, мечтательность – его сладострастие. Заменить мысль мечтой – значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить! Пучина, бурлящая и затягивающая. По мере того как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий погибает. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям – самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте – то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит

его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые знакомые всякому любящему сердцу часы имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом прибавлял». «И мои думы, быть может, находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений, Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало; каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастия! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, тот не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая – возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти.

– Как! – повторял он. – И я ее перед этим не увижу?

Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль прежнего внутреннего бульвара с левой его стороны, то дойдешь до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя до речки Гобеленов, вы видите нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом: зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушится на ветру разное тряпье; старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами; полуразрушенные изгороди; вода, поблескивающая между тополями; женщины, смех, голоса; на горизонте – Пантеон, дерево возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине – строгие четырехугольные башни Собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще чем раз в четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость – прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его:

– Как называется это место?

Прохожий ответил:

– Жаворонково поле.

И прибавил:

– Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври.

После слова «Жаворонково» Мариус ничего больше не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение – для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и неспособна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» – название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах! – сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном таинственным беседам с самим собой. – Так это ее поле! Здесь я узнаю, где она живет».

Это было бессмысленно, но непреодолимо.

И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

Глава вторая.
Зародыши преступления в тюремном гнездилище

Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего – а это было главной заботой Жавера – ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Ускользнул от Жавера и Монпарнас.

Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонину Жавер снова «сцапал». Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось; агенты и сержанты «ничего не понимали»; он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников, он просочился сквозь щели кареты – а щели в ней были – и убежал; когда подъехали к тюрьме, то могли только сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке – беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяние, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о подобной сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться и очень хорошим агентом. Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, – это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он – адвокат, значит разыщется. Но только ли он адвокат?

Следствие началось.

Судебный следователь решил одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона – одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры – Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых, заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись: Брюжон, 1811.

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года. Последний, которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление – отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный прейскурант тюремной лавчонки, начинавшийся: «Чеснок – 62 сантима» и кончавшийся: «Сигара – 5 сантимов», или весь трясся, стучал зубами я, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ля одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, эта рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, – сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон – десять су, другое в Валь-де-Грас – пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу – двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А близ Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бисарро, Бахвала – каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены.

Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, – таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается жетон, – через глазок в дверях спальни увидел Брюжона: тот, сидя на койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно одно: на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик

падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки:

– «Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это время, за недостатком улик против дочерей Тенардье, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце.

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, а Маньон передала его любовнице Бабета в Салпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означаетнечего делать.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке в дозорных тюрьмы Форс – один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» – спросил Брюжон. «Сухарь», – ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

Глава третья.
Видение папаши Мабефа

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить Мабефа.

В то время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Мабефу удалось вырастить лишь несколько редких растении, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак парой яиц, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. Часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно делал, что не посещал его. Но когда Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша

встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в разговор – они только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет. Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежды. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений создам новый успех моей „Флоре" и куплю, – уж я-то знаю где! – Искусство навигации Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, изданное в 1559 году».

А пока же он проводил целые дни возле грядки с индиго, вечером возвращался к себе, поливал садик и читал книги. Ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна н лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее – кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Мабеф, надев очки, стал перелистывать и просматривать две книги, очень его волновавшие и даже, что еще удивительнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Врожденная робость способствовала его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра О личинах демонов, вторая, in quarto, О воверских бесах и бьеврских кобольдах Мотор де ла Рюбодьера. Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его в старину посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные тона небо, а землю – в темные. Читая, Мабеф поглядывал поверх книги на растения, в частности – на великолепный рододендрон, служивший ему утешением. Вот уже четыре дня стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли согнулись, бутоны поникли, листья повисли, – все нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Папаша Мабеф принадлежал к числу людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и неверными шагами, сгорбившись, пошел к колодцу; но, ухватившись за цепь, он не мог даже дернуть ее, чтобы снять с крюка. Он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль души скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! – думал старик. – Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил голову.

Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

– Хоть бы одна росинка! Хоть бы капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не мог.

И тут он услышал голос:

– Папаша Мабеф! Хотите, я полью сад?

Послышался треск, словно через изгородь пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка и остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем папаша Мабеф, которого, как мы уже отмечали, легко можно было привести в смущение и напугать, нашел в себе силы произнести что-то членораздельное, девушка, чьи движения в темноте приобрели странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец ведро и, вытащив его, наполнила лейку, а затем старик увидел, как это босоногое, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, бегала по аллеям, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Как только она кончила свое дело, Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

– Да благословит вас господь! – сказал он. – Вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

– Ну нет, – ответила она, – я дьявол, а впрочем, мне все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

– Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

– Кое-что вы можете сделать, – ответила она.

– Что же?

– Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

– Какой господин Мариус?

Его тусклый взгляд, казалось, всматривался во что-то исчезнувшее.

– Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Мабеф усиленно рылся в памяти.

– А, да!.. – вскричал он. – Понимаю. Стойте! Господин Мариус… барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет… или, вернее, он там больше не живет… Ах нет, не знаю!

Он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

– Подождите, – продолжал он, – я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его часто можно встретить.

Когда Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, он был слегка напуган.

«Право, – подумал он, – если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Через час, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он пробормотал:

– В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

Глава четвертая.
Видение Мариуса

Спустя несколько дней после того как «дух» посетил папашу Мабефа, однажды утром, в понедельник, – день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье, – Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «прогуляться», в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какой-нибудь перевод, – как раз в это время он

взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор – контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог; он видел звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал. «Надо пройтись. Это меня оживит», – говорил он себе.

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся, блестевшую листву.

Он думал о «ней». Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь грустную сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, – у него даже не было сил отчаиваться, – Мариус все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны – шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой – шум работы. Эти веселые звуки навеяли на него глубокую задумчивость, и в этой задумчивости начали вырисовываться связные мысли.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:

– А вот и он!

Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, – старшую дочь Тенардье, Эпонину; теперь ему было известно ее имя. Странно! Она совсем обнищала, но похорошела, – прежде она казалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь: к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на две месяца старше: дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был все тот же хриплый голос, все тот же морщинистый, загорелый лоб, все тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее лице еще сильней чем прежде проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались соломинки и сенинки, но по иной причине, чем у Офелии она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря ни на что, она была хороша. О юность! Какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была заговорить.

– Все-таки я вас нашла! – сказала опта наконец. – Папаша Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых полтора месяца! Значит, теперь вы там не живете?

– Нет, – ответил Мариус.

– А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты! Вы, значит, переехали? Послушайте! Почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше – не помню как. Но ведь вы не барон? Бароны – они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают Ежедневник, по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы теперь живете?

Мариус не отвечал.

– Ах! – продолжала она, – у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением лица:

– Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала, потом вскрикнула:

– А все-таки, если я захочу, вы будете очень рады!

– Как? – спросил Мариус, Что вы хотите этим сказать?

– Прежде вы говорили мне «ты!» – заметила она.

– Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

– Ну, все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу…

– Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

– Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу.

– Какой адрес?

– Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

– Адрес… Ну, вы ведь сами знаете…

– Да, – пролепетал Мариус.

– Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета и вне себя схватил ее за руку.

– О, так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

– Пойдемте со мной, – молвила она. – Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, охваченного восторгом Мариуса:

– О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку.

– Поклянись мне в одном!

– Поклясться? Что это значит? А, вы хотите, чтобы я поклялась вам?

Она засмеялась.

– Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Ошеломленная, она обернулась к нему.

– Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

– Обещай мне сделать, о чем я тебя прошу!

Она, казалось, не слышала.

– Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

– Ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

– Моему отцу? – переспросила она. – Ах да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

– Да, но ты мне не обещаешь! – вскричал Мариус.

– Ну, пустите же меня! – рассмеявшись, сказала она. – Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

– И никому?

– Никому.

– А теперь, – сказал Мариус. – проводи меня.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Идем. О, как он рад! – вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

– Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила:

– Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

– Не нужны мне ваши деньги.

Книга третья
Дом на улице Плюме
Глава первая.
Таинственный дом

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, – в то время знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, – построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходившей на улицу. Сад занимал почти арпан, – только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине – низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать

ребенка и кормилицу. Из флигеля через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством, как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу – значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря предусмотрительно прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей земле, не опасаясь надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и владельцы участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, и даже не подозревали о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия всласть посплетничали о господине председателе.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто – рокайль внутри, рококо снаружи, – окруженный тройной цветущей изгородью, имел вид довольно скромный, немного кокетливый и отчасти торжественный, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, ныне исчезнувшие, еще существовали пятнадцать лет назад. В 93-м году какой-то медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, то его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее, неразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и что даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками – признак того, что там живет женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал сюда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка – Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика – три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще скорее узнал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как помнит читатель, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверное, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что – о прекрасная надежда! – они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что дитя имело право узнать жизнь. прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы без его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем призвание, – значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и пожалев о том, что она – монахиня? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Препятствий не было. Пять лет жизни, проведенных в четырех стенах со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его теперь узнает? Кроме того, если предположить худшее, опасность существовала для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ждать случая, и случай не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан попросил аудиенции у досточтимой настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он покорно просит досточтимую настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает обители за пять лет, проведенных Козеттой под ее кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого был всегда при нем. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим, что отныне он не расставался с чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан неразлучным, добавляя: «Я ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю в большой тревоге.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана.

В это же время он снял две квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей опасности, – словом, чтобы не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он чудом спасся от Жавера. Это были убогие, бедные квартирки в двух кварталах, весьма

отдаленных один от другого, – одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, проводил там месяц, полтора. Он пользовался услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого есть пристанище и в городе. У этого в высшей степени добродетельного человека было целых три жилища в Париже – так он боялся попасться полиции.

Глава вторая.
Жан Вальжан – национальный гвардеец

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом:

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую, изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжкый шкаф, книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу – его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка – барышня». – «А вы, су-сударь?» – спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше чем хозяин: я – отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козстту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье – к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал подаяние, в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов нежной страсти» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время,

распространились и на монастырь Малый Пикпюс – на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и – надо заметить, весьма охотно – нес караульную службу, то было законное переодеванье, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет – в этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, – в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, – а это бывало обычно вечером, – то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову – картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было – предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и почти не замечала странностей отца. Тусен уважала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Чудак!» Она возразила: «Не чудак, а святой».

Ни Жан Вдльжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, – разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но здесь, возможно, он заблуждался.

Глава третья.
Foliis ac frondibus[43]

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, – всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, – это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего в жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки – все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славила и свершала под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, святое таинство братства, – символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом, – он превратился в

гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой и в четырех стенах, с жаром принималась за незримое дело вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; развевая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отрадно смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный, тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; чувствовалась священная близость дерева и птицы – днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода, сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному плотному ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался он в любое время года – весной, зимой, летом, осенью, – от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила «Этот сад – мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах – великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом – купол Дома инвалидов, недалеко – Палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, – улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

В природе нет ничего незначительного; кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; изучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ – явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью – видение, устрашающее разум!

Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется – от образования метеора и от удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит и к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень – плеяда цветов; туманность – муравейник звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном – счете приводят мир материальный и мир духовный – к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновений, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, – здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я»; сводя все к душе – атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя – кто знает? быть может, по одному и тому же закону, – передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой – мошка, а последнее колесо – зодиак.

Глава четвертая.
После одной решетки другая

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак – сгущаясь то здесь, то там, он ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью садовника, – один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой – продолжателем искусства Ленотра, – исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей только исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она производила впечатление скорее дурнушки, чем красавицы; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой, – словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, – впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие; слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму следует мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели

ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт, – это изумительное прирожденное чувство, в котором слиты девические воспоминания и женский опыт, – знает, как, каким образом надо создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, старик ничего в этом не смыслил.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, утратив возможность излиться, и замыкается, утратив возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, – сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь – это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но отгораживавшая сад от улицы.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще ребенком. Жан Вальжан предоставил этот запущенный сад в ее распоряжение. «Делай здесь все, что хочешь», – сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала «зверушек»; она играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради звезд, которые она увидит сквозь ветви над головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал читать, и из него вышел хороший рассказчик; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; у него был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала его с мечтательным блуждающим взором.

Этот простой человек насыщал мысль Козетты так же, как этот дикий сад – ее взор. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к отцу и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, а каморку с соломенными стульями – большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкий кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что она ему докучает, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу.

– Отец! Мне очень холодно у вас. Почему вы не постелите ковер и не поставите печку?

– Милое дитя! На свете столько людей лучше меня, а у них нет даже крыши над головой.

– Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно?

– Потому что ты женщина и ребенок.

– Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

– Некоторые мужчины.

– Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.

Потом она ему говорила:

– Отец! Почему вы едите такой гадкий хлеб?

– Потому, доченька…

– Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жану Вальжану приходилось есть белый.

Козетта смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Когда ей рисовалось ее детство, она видела вокруг себя лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел подле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и, молча роняя слезу, думала: «Быть может, это моя мать!»

Материнство – понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки, воспитывавшейся в монастыре, в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчива, и его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь доверить ее имя чужой памяти со всеми ее неожиданностями?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на это права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине, молчание угнетало его, и ему чудилось, будто во мраке он различает что-то, похожее на палец, приложенный к устам. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы веруем в смерть и не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

– Отец! Сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

– Да, мученичеством, – ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его утопает в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый неземной радостью, он с восторгом твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он уверял себя, что недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил бога за то, что его, отверженного, так горячо полюбило это невинное существо.

Глава пятая.
Роза замечает, что она стала орудием войны

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. Кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? – думала она. – Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» Она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадмуазель такая-то?»

На следующий день она уже сознательно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? – подумала она. – Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или исполняла какую-нибудь другую работу, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то сзади нее сказал: «Красивая! Только плохо одета».

«Это не про меня, – подумала она. – Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье.

Наконец однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы, замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил отец; слова Тусен были для нее откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу – уже три месяца как она не смотрелась в него – и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и со своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то особенное сияние зажглось в ее голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет, но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, – сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

С некоторых пор он с ужасом глядел на красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как она это заметила. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим девушку неожиданным светом. Он воспринял это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, – этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и вымаливал у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного; любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда? Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили – «Хочешь быть счастливее?» – он бы ответил. «Нет». Если бы бог его спросил; «Хочешь райского блаженства?» – он бы отвечал! – «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула – «Конечно, я хороша!» – она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красивая, только плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые, взойдя, заполняют всю жизнь женщины, – зерно кокетства. Второе зерно – любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней проснулась ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, – тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, – а это немало, – но и одной из самых «хорошо одетых», что гораздо важнее. Ей хотелось встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее – ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила:

– Ну, как вы меня находите, отец?

Жан Вальжан ответил тоном, в котором сквозила горькая нотка зависти:

– Восхитительной!

На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

– Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

– Костюм для ряженого! – воскликнула она. – На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец! Мне так хорошо здесь с вами!» – теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Еще он заметил, что Козетта уже не так любит дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой. Жан Вальжан, замкнувшись в себе, не показывался в саду. Он не покидал дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке и сама того не подозревая, ключи от рая. Но, утратив прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после полугодового перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

Глава шестая.
Битва начинается

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым, таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака – грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов люди перестали в нее верить. Теперь нужна смелость для того, чтобы сказать, что он и она полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И, однако, именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Это было такое же зло и такое же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядя в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он совсем не глуп, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и наконец сказали друг другу неясные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. В глубокой задумчивости вернулась она в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала о молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она сердилась на красивого гордеца. Что-то протестующее шевельнулось в ней. Ей казалось, что она наконец отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека – робость, у молодой девушки – смелость Это удивительно и в то же время очень просто. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта – с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображения старших пансионерок:: «Ах, как приятна морковь!» или «Жалость – не свекровь». Но Козетта вышла лз монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено, она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности – другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, – словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перемешивались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и неведающей о своей любви. Сверх всего – кокетливой в силу своей невинности.

Глава седьмая.
За одной печалью печаль еще большая

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто созидается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью-природой, – и в этом мудрость божественного закона, – делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей:

– Как важничает этот молодой человек!

Годом раньше Козетта, с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

– Кто? Ах, этот молодой человек!

Можно было подумать, что она видит его первый раз в жизни.

«Как я глуп! – подумал Жан Вальжан. – Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О простота старцев! О мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к выведу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Коэетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. «Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула:

– Уже?

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрение Козетты; но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Коэетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чудилось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый? Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: „Гм, почему бы и нет?‟ Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести?»

«Да, – продолжал думать Жан Вальжан, – это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, – а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил, – чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, взирающий на другого человека; это был не враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» – осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжаи переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась ответов: она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги, он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

– Да, – ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

– Нет, – печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан Вальжан не ложился спать; он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?»; он старался понять, о чем она думает.

О, какие скорбные взоры обращал он в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир – бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней у него всегда было ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было еще более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что

делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди; оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее:

– Что с тобой?

Она отвечала:

– Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

– А вы, отец? Что с вами?

– Со мною? Ничего, – говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.

Глава восьмая.
Кандальники

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке что-то детское. Им владело непреодолимое чувство; ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время старческие, в силу их наивности, навели его на другие: он поверил, и не без основания, в действие мишуры на воображение молодых девушек. Как-то он увидел на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, – то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

А тут еще неожиданное потрясение!

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца, – тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее!

Утренняя прогулка для любящего одиночество – все равно, что ночная прогулка, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала рано. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета – то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности, мало посещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись унылые, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая

пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее – свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, снимала шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость: девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды, октябрьским утром, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет – восхитительный и суровый час. Мерцавшие в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, побелевшее небо, вздрагивающие стебельки, таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на огромной высоте, и казалось, будто этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворяет беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила за ее куполом, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; на дороге ни души; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, шедших на работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот дровяного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть мысли, которые можно было бы назвать вертикальными, – они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которые она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она воскликнула:

– Отец! Оттуда кто-то едет.

Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы, и ее перерезает под прямым углом бульвар. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, и в то же время это было что-то вздыбленное и колышущееся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно были видны лошади, колеса, слышались крики, хлопали бичи. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали громче, все это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги или, вернее, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные цугом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей было еще невозможно, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, – так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало: то была цепь; на шеях что-то поблескивало: то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями; каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунов, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, связанные люди, с виду больные. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, – настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто, по видимому, был их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. А в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других – плетушки; виднелись волосатые груди; сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи

колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребятишки.

Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать что не сегодня-завтра разразится ливень, потом еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно – то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из пользовавшейся в то время известностью Весталки Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега – свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!»

Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, – и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, – обычное движение, тех, к кому внезапно возвращается память, – он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

– Отец! Что такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

– Каторжники.

– Куда же они едут?

– На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, – то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног.

– Отец! И все это – люди? – снова спросила она.

– Некоторые из них, – ответил несчастный.

Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память.

Однако Жан Вальжаи, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала:

– О господи! Мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация всюду. Жан Вальжаи, изменив своим привычкам, повел Козетту

на праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся в Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, испытывая нечто похожее на чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народным гуляньем»; Жан Вальжан имел право думать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли в сад – это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит – не любит»; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку – значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем девушку. Рядом, в кустах, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила:

– Отец, а что это такое – каторга?

Книга четвертая

Помощь снизу может быть помощью свыше

Глава первая.

Рана снаружи, исцеление внутри

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, – оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал. «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк: она снова полюбила флигелек и дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным

образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты – все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я все это выдумал. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, – думал он, – и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Об отвратительном видении на Менской заставе Козетта больше не заговаривала.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна; сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». – «Хорошо, отец», – сказала Козетта.

Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель-этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да Козетта особенно и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной.

– О целебная рана! – тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа.

Глава вторая.
Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка; ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, а в этом саду – довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко – это ужин; яблоко – это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. За садом была пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? – раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по ту сторону изгороди, как раз против места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

– Господин Мабеф! – сказала старуха.

«Мабеф! – подумал Гаврош. – Вот потеха!»

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

– Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец отозвался:

– Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! – подумал Гаврош. – Да это прямо умора!»

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

– Хозяин недоволен.

– Почему?

– Мы должны за девять месяцев.

– Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

– Он говорит, что выставит нас.

– Что ж, я пойду.

– Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас нет дров.

– Зато есть солнце.

– Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

– Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Это для меня слишком тяжелая пища.

– Что же подавать на обед?

– Хлеб.

– Булочник требует по счету и говорит, что раз нет денег, не будет и хлеба.

– Хорошо!.

– Что же вы будете есть?

– У нас есть яблоки.

– Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

– У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней – таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, – воскликнул про себя Гаврош, – да тут настоящая спальня!» Забравшись поглубже, он свернулся в комочек. Спиной он почти касался скамьи дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки – сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой – на некотором расстоянии сзади.

– А вон и еще двое, – пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного, задумчивого буржуа, одетого более чем просто, вышедшего побродить вечерком под звездным небом и ступавшего медленно, по-стариковски.

Другой был тонкий, стройный, подтянутый. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство; вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль и розу во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то виды на другого. Гаврош мог наблюдать, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте – это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, стиснул руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из прохожих лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом такой страшной силы, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» – подумал Гаврош и, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

– Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик все еще держал его. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел во все глаза и слушал во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел разговор, приобретавший в ночной тьме трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

– Ну, это скучно.

– Чем же ты занимаешься?

– Бездельничаю.

– Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

– Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Моппарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука.

– Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь влачить самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Ты видел одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться – она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг – ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа-закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Раз ты не хочешь быть тружеником, то станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; раз ты не хочешь быть его другом, то будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости? Ты будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы – какое наслаждение! Варка на свободе под ветром, – ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать – это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. Что для других будет легким, как перышко, то для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, покажутся тебе непреодолимой крутизной. Жизнь станет чудовищной

для тебя. Ходить, двигаться, дышать – какая тяжелая работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь пройти или там – станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово – он на улице. Для тебя же выйти из дому – значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь веревку, потом вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, – и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься – упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымоходе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно прикрывать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в тифяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной, диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, – ведь за тобой будут следить, – это просто монета в два су, для тебя – ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку, спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпенья, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, праздность – да ведь это омут! Ничего не делать – печальное решение, знаешь ли ты это? Жить за счет общества? Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль – хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как зверь. И тебя поймают. И ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы собаки, будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, невластное дитя, ведь ты еще так молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни – на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину – получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство – самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд – лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

Отпустив Монпарнаса, старик положил ему в руку кошелек. Монпарнас взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

– Дуралей! – пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезает в сумерках. Эти минуты созерцания были для него розовыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что папаша Мабеф, по-видимому, задремавший, все еще сидит на скамье. Мальчишка вылез из кустов и тихонько пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел папаша Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу папаши Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом – шесть золотых монет.

Господин Мабеф в полной растерянности отнес находку своей домоправительнице.

– Это упало с неба, – сказала тетушка Плутарх.

Книга пятая

Конец которой не похож на начало

Глава первая.

Уединенность в сочетании с казармой

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, незаметно для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную, девственную душу нечто походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса: «Как странно! – сказала она себе. – Я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девичьими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. У него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, красивое круглое лицо с пустыми глазами и нахальным выражением – полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Была ли это простая случайность, но только теперь она видела его почти каждый день.

Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

– Послушай, – говорили они ему, – тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

– Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! – отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя.

Кто был бы в этом виноват? Никто.

Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта – к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка Это быстро-летное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе, подлинное неравенство в браке – это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что доступно только его жене, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, – настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь, нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может, Козетта и не знала об этом. Вдруг произошел странный случай.

Глава вторая.
Страхи Козетты

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в фиакре до глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе. «В лесу заблудились охотники!» – хор из Эврианты, быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно в саду послышались шаги.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, – пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась; очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, – хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать.

Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.

На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, кружившихся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему; ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «зарослей»; ей оставалось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее – тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас, – тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей, в двух-трех шагах от Козетты.

Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову.

Наконец собралась с духом и оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла. Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли это быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация – это еще куда ни шло, но две? Особенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидением. Привидения не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей послышалось и привиделось Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты глупышка».

Но Жан Вальжан задумался:

– Тут что-нибудь есть, – сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась, на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее.

– Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу, на лужайке.

– Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, – сказал он. – Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе.

Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная труба отбрасывать тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, – Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

Глава третья.
Обогащенная комментариями Тусен

В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба; тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею, – та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том место, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, – мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

– Отец вернулся? – спросила она Тусен.

– Нет еще, барышня.

(Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

– Тусен! – продолжала Козетта. – Хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

– О, будьте спокойны, барышня!

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить:

– Ведь здесь так пустынно вокруг!

– Вот уж правда, барышня, – подхватила Тусен. – Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Подумать только! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи!» – и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти, все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

– Полно! – сказала Козетта. – Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору.

Утром, когда взошло солнце, – а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех, – и Козетта проснулась, все ее ужасы показались ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось? – сказала она себе. – Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, – решила она. – Мне приснился этот камень, как и все остальное»

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! – сказала она себе. – Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя – его не было; подпись – ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар; она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светит, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано. Вот что она прочла:

Глава четвертая.

Сердце под камнем

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество – это и есть любовь.

Любовь – это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое заполняет собою весь мир! Как это верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, – а ведь это очевидно, – вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо, значит проникнуть в его душу.

Иные мысли – те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, – на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого? Все творения божий созданы для того, чтобы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания.

О весна! Ты – письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить – вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она – божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, – вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог-это полнота неба; любовь – это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна – женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда – смерть. Умереть из-за отсутствия любви – ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень – будьте магнитом; если вы растение – будьте мимозой; если вы человек – будьте любовью.

Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье, – он хочет рая; он обрел рай, – он хочет неба.

О любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. Любовь обладает тем же, что и небо, – созерцанием, и большим, чем небо, – наслаждением.

– Бывает ли она еще в Люксембургском саду? – Нет, сударь. – Она ходит в эту церковь, не правда ли? – Она больше туда не ходит. – Она по-прежнему живет в этом доме? – Она переехала. – Где же она теперь живет? – Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям – мелочность. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я – во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться ее пальцев – этого мне было бы достаточно на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви – значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь – божественное вдыхание воздуха рая.

Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приуготовление к неведомой судьбе. Эта судьба – истинная судьба – открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи – в его душу.

Как хорошо быть любимым! И еще лучше – любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием,

суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы.

Глава пятая.
Козетта после письма

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер, – это было время его обычного появления, – победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла, что он отвратителен.

Она снова углубилась в чтение. Почерк показался Козетте восхитительным; записи были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо-черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернил, – следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без отбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда – о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Рукопись в пятнадцать страниц внезапно и ласково открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей пригоршню лучей. Она почувствовала в этих строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный. Казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но – она ясно это видела – он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! – говорила она. – Как мне знакомо все это! Я уже раньше все прочитала в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, устыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. От ее лица то и дело отливала краска, по телу пробегала дрожь. Временами ей казалось, что она бредит; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее сейчас, он содрогнулся бы, глядя на непостижимую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, – думала она, – это наверное он! Это он написал для меня»

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О превращения любви! О мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

Глава шестая.

Старики существуют, чтобы вовремя уходить из дому

Вечером, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько ниже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это было ничуть не неприлично и в то же время очень красиво. Она сама не знала, для чего так принарядилась.

Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерки она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами на дворик.

Она бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она села и положила нежную белую руку на камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то непреодолимое чувство., которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с непокрытой головой. Он был бледен и худ. В темноте едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, – близкая к обмороку, не вскрикнула. Она медленно отступала, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта почувствовала за собой дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

И тут она услышала его голос, каким он никогда ни с кем не говорил, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

– Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Вы прочли то, что я положил на скамью? Вы узнаете меня? Не бойтесь. Помните тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени! Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. А день, когда вы прошли мимо? Это было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала. что больше не видела вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, – видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? А потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы – мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали? Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Выть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

– Матушка! – промолвила она и, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, хотя сам шатался. Голова у него была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет церковный обряд и что он совершает святотатство. И все же он не испытывал вожделения к пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

– Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

– Молчи! Ты сам знаешь!

И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого, упоенного счастьем юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды.

Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй – это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка – душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову ему на плечо и спросила:

– Как вас зовут?

– Мариус. А вас?

– Козетта.

Книга шестая
Маленький Гаврош
Глава первая.
Злая шалость ветра

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась – подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ – «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», – говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон – о ней речь шла выше – была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы доброй славой перебить исходивший от нее дурной запах. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день – одного утром, другого вечером – своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени «г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу.

Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались, – того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности самой себе исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» – твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого перевоплощения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству. «А что если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье: то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с претензиями на роскошь, проживала опытная воровка – офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, они находились почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Хорошо, если б отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, что имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение – настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика

играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший мастерскую напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, э 8». «Вы больше здесь не живете, – сказал им башмачник. – Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указывать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченевшие пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время близилось к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

Глава вторая,
в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года – время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии страшная эпидемия, – ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флер-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и посматривая на кусок мыла, он бормотал:

– Во вторник… Нет, не во вторник… Разве во вторник?.. А может, и во вторник… Да, во вторник.

К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным.

Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сегодня была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни,

жалобным шепотом, больше похожим на стону чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, в разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их да улицу и запер дверь.

– Только холоду зря напустили! – проворчал он.

Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь. Гаврош догнал их и спросил:

– Что с вами стряслось, птенцы?

– Мы не знаем, где нам спать, – ответил старший.

– Только-то? – удивился Гаврош. – Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Глупыши!

Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он принял снисходительно мягкий тон растроганного начальника:

– Пошли за мной, малявки.

– Хорошо, сударь, – сказал старший.

Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош пошел по улице Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню.

– Экий бесчувственный! Настоящая вобла! – бросил он – Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно.

– Здравствуйте, мамзель Для-всех! – приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

– Я ошибся насчет той скотины: это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

– Сударыня! Вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

– Шалопай! – крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

– На кого изволите жаловаться?

– На тебя, – ответил прохожий.

– Контора закрыта, – выпалил Гаврош. – Я больше не принимаю жалоб.

Идя дальше, он заметил под воротами закоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

– Бедняжка! – сказал Гаврош. – У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На, держи!

Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

– Бр-р-р! – застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

– Ах так? – воскликнул Гаврош. – Это еще что такое? Опять полил? Господи боже! Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он опять зашагал.

– Ну ничего, – прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, – у нее надежная шкурка. – И, взглянув на тучу, крикнул!

– Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, – это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, – Гаврош обернулся:

– Да, вот что, малыши, вы обедали?

– Мы с утра ничего не ели, сударь, – ответил старший.

– Значит, у вас нет ни отца, ни матери? – с величественным видом спросил Гаврош.

– Извините, сударь, у нас есть и папа и мама, только мы не знаем, где они.

– Иной раз это лучше, чем знать, – заметил Гаврош – он был мыслителем.

– Вот уже два часа как мы идем, – продолжал старший, – мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

– Знаю, – сказал Гаврош. – Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

– Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Заблудиться, когда ты уже в летах! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья – что может быть проще?

Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул:

– Смешно! Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой…

– Для порки, – закончил Гаврош.

– Моя мама, – начал снова старший, – настоящая дама, она живет с мамзель Мисс…

– Фу-ты-ну-ты – ножки-гнуты, – подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

– Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

– Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.

– Три куска, продавец! – крикнул Гаврош.

И прибавил с достоинством:

– Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:

– Этшкое?

Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял в ответил:

– Как что? Это хлеб, очень даже хороший, хлеб второго сорта.

– Вы хотите сказать – железняк? – возразил Гаврош спокойно и холодно – негодующе. – Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

– Эй вы, хлебопек! – сказал он. – Что это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

– Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

– А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. – И, прибавив: – Ешьте, – он протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший более достоин беседовать с ним, а потому заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок:

– Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

– Выйдем на улицу, – сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

– Ну не глупыши? – говорил Гаврош.

Потом задумчиво бормотал:

– Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая, зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

– А, это ты, Гаврош?

– А, это ты, Монпарнас? – ответил Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, н человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

– Вот так штука! – продолжал Гаврош. – Твоя хламида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки – точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

– Тише! – одернул его Монпарнас. – Не ори так громко!

И оттащил Гавроша от освещенной витрины.

Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними.

Когда они оказались под черным сводом ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

– Знаешь, куда я иду?

– В монастырь Вознесение-Поневоле[44], – ответил Гаврош.

– Шутник! Я хочу разыскать Бабета, – продолжал Монпарнас.

– Ах, ее зовут Бабетой! – ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

– Не она, а он.

– Ах, так это ты насчет Бабета?

– Да, насчет Бабета.

– Я думал, он попал в конверт.

– Он его распечатал, – ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

– Ну и мастак! – сказал он.

Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключение сказал:

– Ты не думай, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпариаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

– Ого! – сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. – Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

– Черт возьми! – воскликнул Гаврош. – Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

– Как знать, – с равнодушным видом ответил Монпарнас, – булавка никогда не помешает.

– Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы:

– Так, кое-что.

Затем, переменив разговор, воскликнул:

– Да, кстати!

– Ну?

– На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там – ничего.

– Кроме проповеди, – добавил Гаврош.

– Ну, а ты, – продолжал Монпарнас, – куда идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

– Иду укладывать спать этих ребят.

– Где же ты их уложишь?

– У себя.

– Где это у тебя?

– У себя.

– Значит, у тебя есть квартира?

– Есть.

– Где же это?

– В слоне, – ответил Гаврош.

Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул:

– В слоне?

– Ну да, в слоне! – подтвердил Гаврош. – Што – туткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» означает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

– А в самом деле! – сказал он. – Слон так слон. А что, там удобно?

– Очень удобно, – ответил Гаврош. – Там, правда, отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

– Как же ты туда входишь?

– Так и вхожу.

– Значит, там есть лазейка? – спросил Монпарнас.

– Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

– И ты взбираешься наверх? Так, понимаю.

– Простой фокус. Раз, два – и готово, тебя уже нет.

Помолчав, Гаврош добавил:

– Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

– Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

– Это мне один цирюльник подарил на память, – не задумываясь, ответил Гаврош. Вдруг Монпарнас задумался.

– Ты узнал меня слишком легко, – пробормотал он.

Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту – две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменялся.

– Это тебе к лицу, – сказал Гаврош, – сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.

– Без шуток, – сказал Монпарнас, – как ты меня находишь?

Голос тоже у него был теперь совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

– Покажи-ка нам Пет-р-рушку! – воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

– Слушай, парень, следи глазом: ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, – так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось:

– Вон оно что!

Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

– Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае, если я тебе понадоблюсь ночью, можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

– Ладно, – молвил Монпарнас.

Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош – к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звукосочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг – выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилия, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам, ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал – неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный – безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь-это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.

Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска, был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

– Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

У забора лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру.

– Взбирайтесь и входите, – сказал он.

Мальчики испуганно переглянулись.

– Вы боитесь, малыши! – вскричал Гаврош и прибавил. – Сейчас увидите.

Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

– Ну вот, – крикнул он, – лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! – крикнул он старшему. – Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования-ученика или погонщик – мула:

– Не трусь!

– Так, правильно!

– Лезь же, лезь!

– Ставь ногу сюда!

– Руку туда!

– Смелей!

Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

– Попался! – сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

– Теперь, – сказал Гаврош, – подожди меня. Сударь! Потрудитесь присесть.

Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

– Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе! В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

– Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

– Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим – над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном,

необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

– Начнем вот с чего, – сказал Гаврош, – скажем привратнику, что нас нет дома.

Нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или еще точнее, что должен был испытать Иона в чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса.

– Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

– Что вы мне голову морочите? – воскликнул он. – Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости» к отеческой «мягкости» и обратился к младшему:

– Дуралей! – сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном. – Это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь не дует; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

– Живо! – крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать «глубиной комнаты».

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом – довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые – две спереди, одна сзади – в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.

– Ну, малыши, на четвереньки! – скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все трое растянулись на циновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

– Теперь, – сказал он, – дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

– А это что такое, сударь? – спросил старший, показывая на сетку.

– Это от крыс, – важно ответил Гаврош. – Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам:

– Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего.

– Как хорошо! Как тепло! – пролепетал тот.

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

– Это тоже из Ботанического сада, – сказал он. – У обезьян забрал.

Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил:

– А это было у жирафа.

И, помолчав, продолжал:

– Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова помолчав, он заметил:

– Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

– Сударь! – робко сказал старший. – А разве вы не боитесь полицейских?

– Малыш! Говорят не «полицейские», а «фараоны»! – вот все, что ответил ему Гаврош.

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы

мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

– Ну как? Хорошо тут?

– Очень! – ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

– Кстати, – снова заговорил Гаврош, – почему это вы давеча плакали?

И, показав на младшего, продолжал:

– Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь – это совсем глупо; точь-в-точь теленок.

– Ну да! – ответил тот. – Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться.

– Птенцы! – заметил Гаврош. – Говорят не «квартира», а «домовуха».

– А потом мы боялись остаться ночью одни.

– Говорят не «ночь», а «потьмуха».

– Благодарю вас, сударь, – ответил мальчуган.

– Послушай, – снова заговорил Гаврош, – никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. Затем мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем смотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Маре. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово развлечься! В это время на палец Гавроша упала капля смолы; это вернуло его к действительности.

– А, черт! – воскликнул он. – Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

– А потом, – робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, – уголек может упасть на солому, надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом.

– Говорят не «сжечь дом», а «подсушить мельницу», – поправил Гаврош.

Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

– Обставили мы тебя, дождик! – сказал Гаврош – Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

– Спокойно, ребята! Не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, подтолкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

– Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать – это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

– Да, – прошептал старший, – мне хорошо. Под головой словно пух.

– Говорят не «голова», а «сорбонна»! – крикнул Гаврош.

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

– Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

– Сударь!

– Что? – спросил уже засыпавший Гаврош.

– А это что такое?

– Это крысы, – ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями обитавшие в остове слона, – они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, – держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

– Сударь! – снова заговорил он.

– Ну?

– А что такое – крысы?

– Это мыши.

Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

– Сударь!

– Ну?

– Почему у вас нет кошки?

– У меня была кошка, – ответил Гаврош, – я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

– Сударь!

– Ну?

– А кого же это съели?

– Кошку.

– А кто съел кошку?

– Крысы.

– Мыши?

– Да, крысы.

Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

– Сударь! Значит, такие мыши и нас могут съесть?

– Понятно! – ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

– Не бойся! Они до нас не доберутся. И, кроме того, я здесь! На, держи мою руку. Молчи и дрыхни!

Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, – трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем налетал порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание:

– Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий, веселый детский голос:

– Здесь!

Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Спросишь господина Гавроша».

Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас сказал кратко:

– Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

– Ладно, – сказал он.

Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидевшие в тележках между грудами овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

Глава третья.
Перипетии побега

Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе – гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка – натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами – мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных преступников», как принято выражаться.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь

прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, – сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркеном.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, – то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба, – то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если войти туда с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа – четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, – из железных брусьев.

Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всеми правдами и неправдами.

Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука. Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая.

– Хороша потьмуха для вылета! – заметил Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки

привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать того, что кожа у них на ладонях была содрана.

В эту ночь Тенардье был предупрежден, – каким образом, выяснить не удалось, – и не спал.

Около часа пополуночи, хотя ночь и была темным-темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось.

Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, – в те времена так полагалось, – входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночью.

Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш – чтобы, мол, «крысы его самого не сожрали». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал: «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, кроме того, что «пехтура» – часовой – совсем еще молокосос и что у него «глуповатый вид». Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею – другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся до сего времени; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червяками перекладиной,

напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье в три часа утра с минутами.

Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли – все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого так и не узнали.

Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем: человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам, об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: „Пусть умирает он"?

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа, – время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, на страшной глубине, мокрую мостовую, – желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя: удалось ли бежать трем его соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку по улице Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха и

хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел; из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец Тенардье увидел в сторона Бастилии белесый отсвет, зловеще высветливший край неба.

Он лежал, вытянувшись на стене шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Не лишним будет заметить что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо.

– Шлепаем дальше, чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

– Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыплемся туткайль.

Эти два слова тутго и туткайль, обозначавшие тут – первое на арго застав, второе – Тампля, были лучами света для Тенардье. По тутго он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по туткайль – Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий.

– Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из этих наречий, хотя понимал все.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

– Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться, – тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет, все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому, красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, сказал:

– Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас – ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

– Друзей в беде не оставляют, – проворчал Монпарнас.

– Я тебе звоню, что у него боль, – ответил Брюжон. – Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. И уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо: действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, – был такой ливень, что все улицы опустели, – пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх, – все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать – если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил се за ограду.

Веревка упала к их ногам.

– Удавка! – сказал Бабет.

– Мой шнурочек! – подтвердил Брюжон.

– Трактирщик здесь, – заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардье приподнял голову над стеной.

– Живо! – сказал Монпарнас. – Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

– Да.

– Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардье отважился подать голос:

– Я промерз до костей.

– Согреешься.

– Я не могу шевельнуться.

– Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

– У меня окоченели руки.

– Привяжи только веревку к стене.

– Я не могу.

– Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, – сказал Монпарнас.

– На третий этаж! – заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая.

– Можно взобраться по ней, – сказал Монпарнас.

– По этой трубе? – вскричал Бабет. – Мужчине – никогда. Здесь нужен малек.

– Нужен малыш, – подтвердил Брюжон.

– Где бы найти ребятенка? – спросил Живоглог.

– Подождите, – сказал Монпарнас. – Я придумал.

Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло минут семь, восемь – восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна.

Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

– Малыш! Мужчина ты или нет? – обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами.

– Такой малыш, как я, – мужчина, а такие мужчины, как вы, – мелюзга, – ответил он.

– Как у малька здорово звякает звонок! – вскричал Бабет.

– Пантенский малыш – не мокрая мышь, – добавил Брюжон.

– Ну? Что же вам нужно? – спросил Гаврош.

– Вскарабкаться по этой трубе, – ответил Монпарнас.

– С этой удавкой, – заметил Бабет.

– И прикрутить шнурок, – продолжал Брюжон.

– К верху стены, – вставил Бабет.

– К перекладине в стекляшке, – прибавил Брюжон.

– А дальше? – спросил Гаврош.

– Все, – заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?»

– Там наверху человек, надо его спасти, – сказал Монпарнас.

– Согласен? – спросил Брюжон.

– Дурачок! – ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

– Смотри-ка, – сказал он, – да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновенье спустя Тенардье был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

– Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшегоубивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть – это пожирать.

– Надо смываться, – сказал Брюжон. – Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

– Отлично! Почему же нет? – спросил Тенардье.

– Твоя дочка Эпонина ходила туда, – ответил Бабет.

– И принесла сухарь Маньон, – прибавил Живоглот. – Там делать нечего.

– Дочка не дура, – заметил Тенардье. – А все-таки надо посмотреть.

– Да, да, – сказал Брюжон, – надо посмотреть.

Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

– Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.

– Ты разглядел этого малька?

– Какого малька?

– Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

– Не очень.

– Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

– Ты так думаешь? – спросил Тенардье.

Книга седьмая

Арго

Глава первая.

Происхождение

Pigritia[45] – страшное слово.

Оно породило целый мир – la pegre, читайте: воровство, и целый ад – la pegrenne, читайте: голод.

Таким образом, лень – это мать.

У нее сын – воровство, и дочь – голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами – народа и языка.

Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в оно из своих произведений[46], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой – неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же это отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться – это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, – все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое – на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, – да будет известно тем, кто этого не знает, – явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго-это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность; нам могут сказать, что все ремесла, все профессии – к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления – имеют свое арго. Торговец, который говорит: Монпелье наличный, Марсель хорошего качества; биржевой маклер, говорящий: играю на повышение, страховая премия, текущий счет; игрок, который говорит: хожу по всем, пика бита; пристав на Нормандских островах, говорящий: съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика; водевилист, заявляющий, пьесу освистали; актер,

сказавший: я провалился; философ, который сказал: тройственность явления; охотник, говорящий: красная дичь, столовая дичь; френолог, сказавший: дружелюбие, воинолюбие, тайнолюбие; пехотинец, именующий ружье кларнетом; кавалерист, который называет своего коня индюшонком; учитель фехтования, говорящий: терция, кварта, выпад; типограф, сказавший: набор на шпонах, – все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: мой мазилка, нотариус, который говорит: мой попрыгун, парикмахер, который говорит: мой подручный, сапожник, который говорит: мой подпомощник, говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса – штирборт и бакборт, у театрального декоратора – двор и сад, у причетника – апостольская и евангельская. Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое-где граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь – свидетельством этого является фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру «26» вместо «Рим», grkztntgzyal вместо отправка и abfxustgrnogrkzutu XI вместо герцог Моденский, говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorutn, postmegorum, говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жженка, бастер, кусковой, пиленый, изъясняется на арго. Известное направление в критике, двадцать лет назад утверждавшее: Половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, море Нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь скакуном, белую или трехцветную кокарду розой Беллоны, треуголку треугольником Марса, – этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства, язык, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, – это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты – то же, что лев перед шакалом.

Все это так. Но что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое царство, есть, повторяем, не что иное, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучии и господствующих прав, – в борьбу страшную, где, применяя то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы – арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, – это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой

цивилизации. Умышленно или неумышленно Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский – в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая необходимость в арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения – это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем, – мы на этом настаиваем, – изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, – это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного – поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции – все, что совершается при свете дня вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь – он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ, едва различимое содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных – все эти призраки, бродящие во тьме. Ему надлежит нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвою зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие; на наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни его недр; нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек – это не круг с одним центром, это эллипс с двумя средоточиями. События – одно из них, идеи – другое.

Арго – не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Так он становится страшен.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он

прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес, – костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами – всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается – двойственное движение пресмыкающегося. Он может сыграть любую роль: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это-арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, что слышишь говорящих гидр.

Это – непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую – преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба; он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, – в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы с вами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

Вы тот, кто зовется счастливцем? Нет, вы каждый день грустите. Каждому дню – своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим – несчастье друга; потом дурная погода, потом разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходятся расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь.

Незрелые умы пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного, нет счастливцев.

Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных – такова цель. Вот почему мы кричим – «Обучения! Знания!» Научить читатьэто зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда значит сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя – враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, – это и есть чудо гения.

Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

Глава вторая.

Корни

Арго – язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго – можете с этим соглашаться или не соглашаться – есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

Mais ou sont les neiges d'antan?[47]

написана на арго. Antan – ante annum – слово из арго Двора чудес, обозначающее прошедший год и, в более широком смысле, когда-то Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: Les dabs d'antan trimaient siempre pour la pierre du coesre. Иными словами – Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово decarade, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche.[48]

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский – этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в трех его разновидностях – романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, – латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот boffette – пощечина, происшедшее от bofeton: vantane – окно (позднее – vanterne), от veniana; gat – кошка, от goto; acite – масло, от aceyte. Не угодно ли итальянского? Вот spade – шпага, происшедшее от spada; carvel – судно, от caravella. Не угодно ли английского? Вот bichot – епископ, происшедшее от bishop; raille – шпион, от rascal, rascalion – негодяй; pilche – футляр, от pitcher – ножны. Не угодно ли немецкого? Вот caleur – слуга, от Kellner; hers – хозяин, от

Herzog – герцог. Не угодно ли латинского? Вот frangir – ломать, от frangere; affurer – воровать, от fur; cadene – цепь, от catena. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти: это слово magnus – великий; Шотландия сделала из него mac, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор – великий Фарлан, великий Каллюмор[49], арго сделало из него meck, а позднее meg, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот gahisto – дьявол, от gaiztoa – злой; sorgabon – доброй ночи, от gabon – добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот blavin – носовой платок, от blavet – брызжущая вода; menesse – женщина (в дурном смысле), от meinec – полный камней; barant – ручей, от baranton – фонтан; goffeur – слесарь, от goff – кузнец; guedouze – смерть, от guenn-du, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю мальтийка, в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка – то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, – словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач – кат; лес – оксым; страх, бегство – плет; лакеи – лакуза; генерал, префект, министр – ковруг; дьявол – дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например дедер, гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора-загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома более метафорического, чем арго. Отвинтить орех – свернуть шею, хрястать – есть; венчаться – быть судимым; крыса – тот, кто ворует хлеб; алебардит – идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем, – тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое – не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов – прямого словотворчества и метафоры: Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму – собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер – балбень, фраерша – клевая, а баруля фартовая – хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание айль, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? – находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к

привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык – за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif; gail, лошадь, – gaye; fertanche, солома, – fertille; momignard, малыш, – momacqe; fiques, одежда, – frusques; chique, церковь, – ergugeoir; colabre, шея, – colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь, священник – скребок, потом кабан; кинжал – двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские – кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач – дядя, потом Шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить – угощать табаком, а в XIX – натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьеанш? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение не перестает оставаться его законом.

Если философу удается удержать на мгновение «тот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей бить – значит прикидываться; они бьют болезнь – прикидываются больными: их сила – хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь – потьмуха; человек – темник. Человек – производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек – больной; человек осужденный – мертвый.

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль – о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя – это сердцевина; многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях он называет сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце – ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux – нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями – нуждой и злобой; поэтому арго не говорит gueux, оно говорит reguise – навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостье. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может родиться из одного слова.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, – вы. я, любой прохожий: pantre. (Pan – все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa?[50] Так вот, послушайте.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом – десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и, просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка – нежная:

Туткайль театр

Малютки стрелка.[51]

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца – любовь.

В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тайна – общая собственность. Тайна для этих отверженных – связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну – значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке арго, обозначает съесть кусок. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: засветить тридцать шесть свечей. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча – это камуфля. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним – камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Пулайе сказал: Я зажигаю мою камуфлю, а Вольтер писал: Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов.

Раскопки в арго – это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием.

Арго – это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О бедная мысль отверженных!

Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел – вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, изрыгающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна оставаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

Глава третья.

Арго плачущее и арго смеющееся

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века назад, так и арго современное, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль нищих Двора чудес, которые употребляли для игры особые колоды карт; некоторые из этих карт дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками – род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, отмечена печатью бессилия и подавленности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «Je n'entiave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses momes et ses momignards et les locher criblant sans etre atige luimeme».[52] Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев малюре заменился ларифла. В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

Мирлябаби, сюрлабабо,

Мирлитон рибон рибет.

Сюрлябаби, мирлябабо,

Мирлитон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец это признак, – если только не возникнет какой-нибудь помехи, – близкого и пышного их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века – доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе, – это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, – их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро – к прекрасному, Тюрго – к полезному, Вольтер – к истинному, Руссо – к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты – ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной леснице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принцем, – забавная подробность! – числятся в Тайной библиотеке. Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхности. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон прорыл тогда в народных толщах самую гибельною для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии большие опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойник», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева. В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, – в одном и в другом случае глаза у них закрыты, – ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения – детская игра. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии – это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция – этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу – право.

XIX век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция – это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда земля разверзалась, когда свод пещер рушился – и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство – чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс – это «Смерть ворам!» Прогресс – честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотен сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

Глава четвертая.
Два долга: бодрствовать и надеяться

Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакерия не существует. Общество может быть спокойно, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их

горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы – для всех способностей и училища – для всех умов; увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, – одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность – пусть человеколюбивые души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость – пусть эгоистичные сердца об этом знают.

Однако – это только начало. Задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвиденьем.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание – это напутствие, мысль – первая необходимость, истина – пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же и желудки и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец – завоеватель. Оно идет со своим воинством – суевериями, со своей шпагой – деспотизмом, со своим знаменем – невежеством; оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим – чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть.

Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа – никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия – явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает

решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока – никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, когда рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все-обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут – значит дали течь, нам больше нечего сказать; и мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется «прошлым», за огромными волнами-веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли – Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там – мрак, а здесь – ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы применяем зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков, и чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение – это уже много; дать ей свет-это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя – выслушать легкие и сердце цивилизации.

Повторяем: такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц – суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны-кратеры и лишаи-серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает лаву; болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов – предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных – вожделение, зависть, ненависть при виде наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

Книга восьмая
Чары и печали
Глава первая.
Яркий свет

Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного – к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео; Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу – лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не было; к тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины – уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь – жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чащи, что ни день все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, чтобы уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду – чистоту Коэетты. Козетта чувствовала опору-честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в там восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.

Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная, могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.

Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, – тупица и дурной человек.

Крзетта говорила Мариусу:

– Знаешь?..

(При всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

– Знаешь? Меня зовут Эфрази.

– Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта!

– Нет. Козетта – довольно противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази Тебе разве не нравится это имяЭфрази?

– Нравится, но Козетта – вовсе не противное имя.

– Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

– Н… да.

– В таком случае, мне тоже. Правда, это красиво – Козетта… Зови меня Козеттой.

Ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ.

В другой раз она пристально взглянула не него и воскликнула:

– Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

Мариусу, в его неземном упоении, казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

– Не кашляйте. Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

– Представь себе: одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер.

В другой раз он вдруг воскликнул:

– А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, а это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу, на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцанье спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка, – и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, – это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент-это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные, мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смесь сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

– О, как ты прекрасна! – шептал Мариус. – Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается – какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу – в телескоп.

– Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра, – говорила Козетта.

Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина – в этом вся женщина; в этом все небо.

Среди этого полного счастья у них каждый миг навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви – умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим, – подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви, – они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны

души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говоря г друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

Глава вторая.
Упоение полным счастьем

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус – барон? Она не поняла. Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Кто не испытал всего этого? Увы! Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь – пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» – ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение – к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над

земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи – вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза – это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

Глава третья.
Первые тени

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она счастлива. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа, услышав, как Козетта открывает застекленную дверь. Разумеется, днем Мариуса здесь никогда не видели. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Только раз, утром, он сказал Козетте: «У тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус, в порыве восторга, обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Тусен, рано кончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне; она тоже ни о чем не догадывалась.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветки деревьев. Если бы в эти мгновенья молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили – так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковы. Такая любовь-это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся около полуночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говорил Баорелю:

– Можешь себе представить? Мариус является домой в час ночи.

– Что ж такого? – отвечал Баорель. – В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, приняв серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:

– Молодой человек! Вы сбились с пути истинного.

Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; неземные страсти были ему непонятны, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием:

– Дорогой мой! Ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну будь же добрым малым, скажи, как ее зовут?

Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из грех священных слогов, составлявших волшебное имя – Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство.

Поссориться и говорить друг другу «вы» только для того, чтобы с большим наслаждением сказать потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, со всеми подробностями, о людях, до которых им не было никакого дела, – лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса – слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты – слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на звезду в небесах или на светляка в траве;

Вместе молчать – наслаждение еще большее, чем беседовать;

И т. д., и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по-обыкновению, он шел, опустив голову; собираясь свернуть на улицу Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

– Добрый вечер, господин Мариус!

Он поднял голову и узнал Эпонину.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она ведет его, – мы это уже установили, – к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эту девушку зовут Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, – то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой готовностью пожертвовал собой. Мы показ+ваем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

– Ах, это вы, Эпонина? – ответил он с некоторым замешательством.

– Почему вы говорите мне «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

– Нет, – ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее.

– Скажите же… – начала она и запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

– Ну!.. – снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

– Покойной ночи, господин Мариус! – вдруг резко сказала она и ушла.

Глава четвертая.

Кэб по английски-то, что катится. А на арго-то, что лает

На следующий день (это было 3 июня, а 3 июня 1832 года – дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозовыми тучами над горизонтом Парижа) Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд-это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонина шла за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

«Смотри-ка! – сказала она себе. – Идет к ней в дом!»

Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

– Ну нет, черта с два! – сердито пробормотала она. И уселась на цоколе, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где разглядеть Эпонину было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавшиий буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой угрожающий голос.

– Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; спустя минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

– Туткайль! – сказал один из них.

– Есть ли кэб в саду? – спросил другой.

– Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

– Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

– Есть.

– Решетка старая, – добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя.

– Тем лучше, – сказал второй. – Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут, как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

– Здесь есть кэб.

И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал потрясение, которое вызывает неожиданность. Он словно весь ощетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

– Это еще что за потаскуха?

– Ваша дочь.

Действительно, это была Эпонина, а говорила она с Тенардье.

При появлении Эпонины Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

– Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? – приглушенным голосом воскликнул Тенардье. – Пришла мешать нам работать?

Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею.

– Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардье попытался высвободиться из объятии Эпонины и прорычал:

– Отлично. Поцеловала – и довольно. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпоннна не отпускала его – и удвоила свою нежность:

– Папочка! Как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться. Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите, что с маменькой?

– Она здорова, – ответил Тенардье. – Впрочем, не знаю, говорят тебе, пусти меня и проваливай.

– Ни за что не уйду, – жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка. – Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И тут она снова обняла отца за шею.

– Ах, черт, как это глупо! – не выдержал Бабет.

– Мы теряем время! – крикнул Живоглот. – Того и гляди появятся легавые.

Голос чревовещателя продекламировал двустишие:

Для поцелуев – свой черед,

У нас теперь не Новый год.

Эпонина повернулась к пяти бандитам.

– А, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет! Здравствуйте, господин Звенигрош! Вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

– Не беспокойся, все тебя узнали! – проворчал Тенардье. – Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

– В этот час курам спать, а лисицам гулять, – сказал Монпарнас.

– Нам надо тутго поработать, понятно? – прибавил Бабет.

Эпонина схватила за руку Монпарнаса.

– Берегись! Обрежешься, – у меня перо в руке, – предупредил тот.

– Монпарнас, миленький, – кротко молвила Эпонина, – люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот! Ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

– Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

– Там одни женщины, – сказал Живоглот.

– Нет. Все выехали.

– А свечи остались! – заметил Бабет.

И показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпонина сделала последнюю попытку.

– Ну и что ж! – сказала она. – Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

– Пошла к черту! – вскричал Тенардье. – Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.

Он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.

– Господин Монпарнас, дружочек, – сказала Эпонина, – вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

– Берегись, напорешься на нож! – ответил Монпарнас.

Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:

– Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась.

– Значит, вы хотите войти в этот дом? – спросила она.

– Только сунуть нос! – ухмыляясь, заметил чревовещатель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

– Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

– Друзья! Слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

– С нее станется, – тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.

Она тряхнула головой и прибавила:

– Начиная с моего папеньки!

Тенардье подошел к ней.

– Подальше от меня, старикан! – предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

– Сука!

Она засмеялась злобным смехом.

– Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорят вам: вы – не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам уже объяснила: кэб – это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте, куда хотите, а сюда не являйтесь, я запрещаю вам! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка попробуйте, подойдите! Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам; вид ее был ужасен.

– Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем – мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться – чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Эпонина уставилась на Тенардье.

– Даже вас, папаша! – сказала она и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

– Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыханье с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

– Стоит мне только крикнуть, – продолжала она, – сюда прибегут, и – хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.

Тенардье двинулся к ней.

– Не подходить! – крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

– Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка! Значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

– Вы мне надоели, – ответила Эпонина.

– Нужно ведь нам, как-никак, жить, есть…

– Подыхайте.

Она уселась на цоколь решетки и запела:

И ручка так нежна,

И ножка так стройна,

А время пропадает…

Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

– Что-то ей засело в башку, – сказал Бабет. – Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

– Ладно, вы все ступайте туда! – вскричал Монпарнас. – Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется…

При свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава.

Тенардье не говорил ни слова, и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается; всем было известно, что только из удальства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни и поэтому пользовался большим авторитетом.

– А ты что скажешь, Брюжон? – спросил Бабет.

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, решился подать голос:

– Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

– Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

– А я нет, – сказал Бабет. – Дамочек я не трогаю.

На углу они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:

– Где будем ночевать сегодня?

– Под Пантеном.

– Тенардье! При тебе ключи от решетки?

– А то у кого же!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем.

Глава пятая.
Что таится в ночи

После того как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; вещам неведомым нам, живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая, ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых – чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, – оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и – чудится им – живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо.

Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.

Глава шестая.
Мариус возвращается к действительности и дает Козетте свой адрес

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой.

Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

– Что с тобой? – это были первые слова Мариуса.

– Сейчас… – начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: – Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал.

В конце жизни «умереть» – значит расстаться; в начале ее «расстаться» – значит умереть.

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», – прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм – всего-навсего кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились каждую ночь видеть друг друга во сне – и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки – все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил себе, – то был глухой, неясный лепет пробивающейся чувственности, – что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. «Это моя» – «Нет, это моя». – «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». – «То, что ты принимаешь за себя, – я». Мариус был частью Козетты, Козетта – частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта – не твоя!»

Мариус пробудился. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной как лед. И теперь уже она спросила его:

– Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

– Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

– Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

– Но ведь это чудовищно! – воскликнул Мариус.

Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок Бузириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там какие-то дела.

– Когда же ты уезжаешь? – упавшим голосом спросил он.

– Он не сказал когда.

– А когда же ты вернешься?

– Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

– Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тески, и растерянно проговорила:

– Куда?

– В Англию. Вы поедете?

– Почему ты говоришь мне «вы»?

– Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

– Но что же мне делать, скажи? – ответила она, умоляюще сложив руки.

– Значит, вы едете?

– А если отец поедет?

– Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

– Хорошо, – сказал Мариус. – Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте.

– Что ты хочешь сказать? – прошептала она.

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу.

– Ничего, – ответил он.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему.

Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.

– Какие мы глупые! Мариус, я придумала!

– Что?

– Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

– Уехать с вами! – крикнул он Козетте. – Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают; уже полтора месяца как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо, не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Такое горе – бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ступни, выступавшей из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

– Не плачь, – сказал он.

– Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне! – прошептала она.

– Ты любишь меня? – спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:

– Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

– Не плачь. Ну ради меня, не плачь!

– А ты? Ты любишь меня? – спросила она.

Он взял ее за руку.

– Козетта! Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

– Теперь слушай, – сказал он. – Не жди меня завтра.

– Почему?

– Жди послезавтра.

– Почему?

– Потом поймешь.

– Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

– Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь.

– Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером, – вполголоса, как бы про себя, прибавил Мариус.

– О ком ты говоришь? – спросила Козетта.

– Я? Я ничего не сказал.

– На что же ты надеешься?

– Подожди до послезавтра.

– Ты этого хочешь?

– Да.

Она обхватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась просесть в его глазах то, что составляло его надежду.

– Я вот о чем думаю, – снова заговорил Мариус. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож я лезвием вырезал на штукатурке стены:

Стекольная улица, э 16.

Козетта опять посмотрела ему прямо в глаза.

– Скажи мне, Мариус, что ты задумал? Ты о чем-то, думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

– О чем я думаю? Вот о чем: чтобы бог хотел нас разлучить – этого не может быть. Жди меня послезавтра.

– Что же я буду делать до тех пор? – спросила Козетта. – Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

– Я попытаюсь кое-что предпринять.

– А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из Эврианты, то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду.

– Я тоже.

Безотчетно, движимые одной мыслью, увлекаемые электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби упоенные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпонина шла следом за бандитами до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, – мысль, которую, увы! он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

Глава седьмая.

Старое сердце и юное сердце друг против друга

Дедушке Жильнорману пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, э 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был человек старого закала, которые ждут смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в Монитере следующее

словосочетание: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался, – это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе, – он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, – другими словами этого не выразить – ждал Мариуса, убежденный, что «скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то… Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего прочего Жильнорман чувствовал, или убедил себя, что ему, деду нельзя делать первый шаг. «Лучше околеть», – говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немым отчаяньем старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затосковал.

Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, видимо желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все время смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:

– По-моему, он похож на нее.

– На сестру? – спросила девица Жильнорман. – Ну, конечно!

– И на него тоже, – прибавил старик.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

– Отец! Неужели вы все еще сердитесь?..

Она запнулась.

– На кого? – спросил он.

– На бедного Мариуса.

Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

– Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин-шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

– Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор, как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Жильнорман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности – нравиться. Старик наскучил улану, улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения, веселый, но не в меру болтливый; легкомысленный, но пошловатый; любивший хорошо пожить, но плохо

воспитанный; у него были любовницы, это правда, и он много о них говорил, – это тоже правда, – но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Жильнорману надоело слушать россказни о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это делало его уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери:

– Довольно с меня этого Теодюля. Принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, как баба, носить корсет под кирасой – это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе.

Напрасно дочь твердила ему: «Но ведь это ваш внучатый племянник».

Жильнорман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе.

Однажды вечером, – это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, – он отпустил дочь, и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет Гара. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», – говорил он.

Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. В нем закипал гнев, и в конце концов его озлобленная нежность переходила в негодование. Он дошел до такого состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «этого господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели, – говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев, – неужели он не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

– Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

– Как? Господина Мариуса?

– Не знаю, – ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, – сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Жильнорман пробормотал еле слышно:

– Проси.

Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти.

Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старик Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, это был он, это был Марнус!

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел, что Мариус красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил:

– Что вам нужно?

– Сударь… – смущенно заговорил Мариус.

Жильнорману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом и самим собой. Жильнорман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им.

– Зачем же вы все-таки пришли? – с угрюмым видом перебил он Мариуса.

Это «все-таки» обозначало: «Если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором.

– Сударь…

Старик опять сурово прервал его:

– Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

– Нет, сударь!

– В таком случае, – с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, – чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

– Сударь! Сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Он встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

– Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина, вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я – всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня нет даже и седых, выпали

зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц – Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди – настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

Старик снова спросил серьезно и сердито:

– Так чего же вы от меня хотите?

– Сударь, – ответил Мариус, – я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кой о чем, после этого я сейчас же уйду.

– Вы глупец! – воскликнул старик. – Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца. Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею! Жильнорман чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

– Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы огорчили вашу тетушку, вы сделали это, – догадаться нетрудно, – потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов, даже не попросив меня заплатить их, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста. Жильнорман скрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу:

– Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

– Сударь! – заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть. – Я пришел попросить у вас позволения жениться.

Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

– Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, мадмуазель Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника; Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

– Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, – она словно не узнавала его, – и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился целой речью:

– Жениться? В двадцать один год! И все у вас улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика – недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь

совсем близко, на улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «Двадцать восьмого июля тысяча восемьсот тридцатого года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком?

Он остановился, но, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

– Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

– Ничего, – ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью.

– Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Жильнорман продолжал:

– А, понимаю Значит, девушка богата?

– Не богаче меня.

– Что? Бесприданница?

– Да.

– Есть надежды на будущее?

– Не думаю.

– Совсем нищая. А кто такой ее отец?

– Не знаю.

– Как ее зовут?

– Мадмуазель Фошлеван.

– Фош… как?

– Фошлеван.

– Пффф! – фыркнул старик.

– Сударь! – вскричал Мариус.

Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:

– Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Баронессе Понмерси придется самой ходить к зеленщице и покупать па два су петрушки.

– Сударь! – заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда. – Умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся злобным, скрипучим смехом, прерываемым кашлем.

– Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы тогда и без него! Ну да все равно, я ему скажу: „Старый осел! Счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадмуазель – все равно какой, дочерью – все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!“ И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Кашлеван, Пеклеван… Нет, сударь, никогда, никогда!

– Отец!

– Никогда!

По тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло.

– Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жильнормана выражало грубое, не находившее себе выражения в слове добродушие. Предок уступил место деду.

– Ну полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!

– Отец… – снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием.

– Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола; жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жильнорман взирал на него с изумлением.

– Итак, отец… – начал Мариус.

– Так вот оно что! – прервал его Жильнорман. – У тебя правда нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порылся в ящике, вынул кошелек и положил на стол.

– Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

– Отец! – продолжал Мариус. – Дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду – она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, – не знаю сам, как это случилось, – влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только: они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, ну я и подумал: «Пойду к дедушке и скажу ему все». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда: кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением, медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени.

– Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая.

Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельган-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус! Я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке,

к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Я должен отдать себе справедливость: из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами:

– Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым, уверенным шагом направился к дверям. Затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

– Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Жильнорман, окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

– Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

– Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже не вернется!

Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, – Баск и Николетта удерживали его сзади, – и стал кричать:

– Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи.

Девяностолетний старик, с выражением тягчайшей муки, несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

Книга девятая
Куда они идут?

Глава первая.
Жан Вальжан

В тот же день, в четыре часа Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах, картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь – значит все опасности налицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя неспокойно всякий, кто имел основания что-либо скрывать: политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Море, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался – его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был очень озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:

Стекольная улица, э 16.

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это значит? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал Козетте о строчке, нацарапанной на стене, – он боялся ее испугать.

Внезапно его тревожные размышления были прерваны – он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом, большими буквами, слово:

Переезжайте

Жан Вальжан вскочил – на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, – перешагнув парапет, он соскользнул в ров Марсова поля.

Жаль Вальжан в глубоком раздумье отправился домой.

Глава вторая.
Мариус

Мариус ушел от Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии.

Впрочем, – те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, – улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения – те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло, то не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам – обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

– Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда в голове у него словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше – тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, ровно в девять часов, Мариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце.

Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца «Она ждет меня здесь», – подумал он. Козетты и там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад, – в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал, еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» – крикнул он. «Козетта!» – повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду; никого в доме.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его.

Несколько происшествий – обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, – он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета – по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» – и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все.

Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время

засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава третья.
Мабеф

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости, Мабеф не принял подарка звезд; он не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, а Мабефа он не выручил.

Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его Флоры. Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением клише он не мог пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры Флоры и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он проедал деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил сад и оставил его невозделанным. Уже давно он отказался от яиц и куска мяса. Он заменил их хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего мог обойтись, из постельного белья, лишнюю одежду, одеяла, затем гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, Исторические и библейские четверостишия, издание 1560 года, Свод библии Пьера де Бесса, Жемчужины. Маргариты Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, об обязанностях и достоинстве посла сьера де Вилье-Хотмана, Раввинский стихослов 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, XIII века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи XII столетия из Неаполитанской библиотеки. Мабеф не разжигал камина в спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий это наиболее леденящее. Однако папаша Мабеф не утратил своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги; он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, уцелел только его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

– Мне не на что приготовить обед. То, что она называла обедом, состояло из хлебца и нескольких картофелин.

– А в долг? – спросил Мабеф.

– Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.

Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

– Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось тенью, и тень эта уже не исчезала.

Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать книги, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека перешла к ним. Иногда он говорил: «Мне ведь восемьдесят лет», словно у него была тайная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малаке, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Гре. «Я должен пять су», – сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель Общества навестил его, обещал поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! – воскликнул министр. – Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», – сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «Кто этот старик?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Так прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, больная чувствовала себя хуже, нужна была сиделка. Мабеф открыл шкаф – там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций.

Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; это было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассветом он сел в саду на опрокинутую тумбу; через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел все утро, опустив голову и тупо глядя на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

– Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

– Бунт.

– Какой бунт?

– Такой. Дерутся.

– Почему дерутся?

– А бог их знает! – сказал садовник.

– Где же это? – спросил Мабеф.

– Где-то возле Арсенала.

Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и забыл!», вышел из дому с растерянным видом.

Глава четвертая.
Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров; потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествуемые тремя вооруженными людьми, – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей, – почти все двуствольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Один брал ружье, другой – штык; таким образом можно было вооружить больше народа.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки,

разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разобрали лесной склад. Только в одном месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом э 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, с другой – баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна – с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая – с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты.

Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа.

В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал,

мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебяжьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт были убиты, один за другим, три офицера. Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: Республиканская революция. э 127. Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель.

Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались – это и доказывало, что вопрос решался именно здесь.

В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, – Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно.

Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полнейшее спокойствие.

Глава пятая.
Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит:

– Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен.

Или:

– В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

– Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанною трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее,

на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая – от Бастилии, вторая – от ворот Сен-Мартен, третья – от Гревской площади, четвертая – от рынков; что, возможно, впрочем, поиска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего – к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга десятая
5 июня 1832 года
Глава первая.
Внешняя сторона вопроса

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой, недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, тщеславие, обвиняющее судьбу в крушении своих надежд, наконец, в самом низу, чернь, воспламеняющаяся грязь – таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное; существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безымянные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, – все они принадлежат мятежу.

Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж – это своего рода смерч, при известной температуре внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика – в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то, с точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе не вреден. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом». Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерное доброжелательство; являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь всего лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы – между горячей и холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется, что: «Мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю революцию, вначале отмеченную единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны; мятеж обнаружил их. Появились основания для того, чтобы утверждать: „Ага! Наступил перелом“. После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх, во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй – сорок, третий – шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, – иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж по-своему прекрасен; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом – сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее яркие особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что

опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие в возрасте, – это одна и та же раса, это те же стоики, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет – за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели! Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, и Францию, несомненно ослабевшую. Прибавьте – потому что следует сказать обо всем – кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге – мятежи были губительны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно.

А мы – мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за ту же цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений – мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.

Мы уточняем.

Глава вторая.
Суть вопроса

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева: один – неправый, другой – правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одно и то же оружие, наведенное на толпу, виновно 10 августа и право 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт – истинное. То, что всеобщее голосование создало, сознавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации; инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием. Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, – это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона – это мятеж; Париж против Бастилии – это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба – это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что

Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероятным, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»? Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы г-жи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки – вот мятеж. Вандея – это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества – нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание-это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять – это насилие над человеческим родом. Восстание-это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI – это восстание; Гебер против Дантона – это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание – вулкан, а мятеж – горящая солома.

Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк – мятежник; Камилл Демулен – правитель.

Порою восстание – это возрождение.

Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования – явление совершенно новое, и четыре предшествовавшие ему века характеризовались попранием прав и страданиями народа, и все же каждая историческая эпоха несла с собой свою, возможную для нее, форму протеста. При цезарях не было восстаний, зато был Ювенал.

Fncit indignatio[53] заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; кроме него, был еще человек, написавший Анналы.

Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса; он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале – это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший Анналы, – латинянин; скажем точнее: римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящею прозу.

Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, – слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу

своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.

Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы – больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Заметим мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит – два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик, бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, – вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры – Тацит и Ювенал – с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов – дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в средние века, – это человек; мятеж и восстание – народ, иногда неправый, иногда правый.

Чаще всего мятеж является следствием причин материального порядка; восстание – всегда явление нравственного порядка. Мятеж – это Мазаньелло, восстание – это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж – с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает, у мятежа, – в Бюзансе, например, – реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ-цель хорошая, истреблять его – плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания – мятеж, точно так же, как исток реки – горный поток. И обычно оно впадает в океан – Революцию. Впрочем, иногда, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости,

мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном, триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее-иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, – как уличных войн, так и войн на границах государства, – вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра – это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он плохо разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?

Восстание.

Может статься, в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, не забывая о различии между его формой – мятежом и его сущностью – восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как эпоха мятежей, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, – мы на этом настаиваем, – именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили, – это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому, – факты, которые повлекли за собой забвение одних и смерть других Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать клятву: мы сами видели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, – дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы приподнимем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

Глава третья.
Погребение – повод к возрождению

Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.

Ламарк был человек действия и доброй славы. И при Империи и при Реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой – за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя in petto[54] одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом армия на устах. Ламарк со словом отечество.

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство – как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

Накануне и в самый день 5 июня – день, назначенный для погребения генерала Ламарка, – Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Да видишь ли, у меня нет оружия». – «Ну так что же?» – «Вот я и иду на стройку за своим циркулем» – «А на что он тебе?» – «Не знаю», – ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал – «У тебя есть работа?» – «Нет». – «Поди к Фиспьеру – это между Монрейльской и Шаронской заставами, – там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «мчались как на почтовых», то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» – «Под блузой». – «А ты?» – «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал больше недели, – хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время с ним спорить». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос «Чего же ты хочешь?» – отвечал «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.

Итак, 5 июня, в день, то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона, с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку, и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним

шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, – члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей, знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, длинные трехцветные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивавшие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, где шумной толпой, где стройной колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей, какой-то человек, вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; у всех глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство тоже наблюдало. Наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами впереди; в Латинском квартале и в Ботаническом саду – муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице, на Винном рынке – эскадрон драгун; на Гревской площади – половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину – на площади Бастилии, 6-й драгунский – у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. Выражение лица у большинства людей, шедших с непокрытыми головами, было восторженное и вместе с тем подавленное. Среди народа, находившегося во власти необузданных, но благородных страстей, виднелись физиономии настоящих злодеев, виднелись мерзкие рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда вся муть поднимается со дна на поверхность. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий – обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась

у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, – он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета – по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» – и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все.

Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава четвертая.
Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров;

потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествуемые тремя вооруженными людьми, – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишел-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей, – почти все двуствольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Один брал ружье, другой – штык; таким образом можно было вооружить больше народа.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разобрали лесной склад. Только в одном месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом э 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, с другой – баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна – с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая – с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты.

Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочною, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа.

В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебяжьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт были убиты, один за другим, три офицера. Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: Республиканская революция. э 127. Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель.

Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались – это и доказывало, что вопрос решался именно здесь.

В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, – Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно.

Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл па рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полнейшее спокойствие.

Глава пятая.
Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит:

– Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен.

Или:

– В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

– Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанною трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая – от Бастилии, вторая – от ворот Сен-Мартен, третья – от Гревской площади, четвертая – от рынков; что, возможно, впрочем, поиска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего – к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга:

«Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга одиннадцатая

Атом братается с ураганом

Глава первая.

О корнях поэзии Гавроша. Влияние на его поэзию одного академика

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться, – одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» – убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая:

Днем видно все, зато ночами

Мы ни черта не видим с вами!

Любой забористый стишок

Для буржуа – что вилы в бок

Эй, колпаки! Господь-свидетель,

Вы позабыли добродетель.

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.

На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.

Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для братьев. Братья вечером, отец утром – вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь. «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята! Если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе-этой китайской головоломке, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не

видел ребят. С той ночи прошло месяца три. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, черт возьми, девались мои ребята?»

Итак, он пришел, с пистолетом в руке, на Капустный мост. Он заметил, что на этой улице оставалась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало особого внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:

– До чего они жирные, эти самые рантье! Откормленные. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут – сколько влезет в брюхо.

Глава вторая.
Гаврош в походе

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки – занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

– Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете! Друзья мои! Я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Маре, представляло резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже – квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету – в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Ториньи – три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком – занимались только своими обычными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости – одряхления, немощи, нужды и печали.

Тряпичница была женщина смиренная. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, – по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.

Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

– А ваша кошка все такая же злюка?

– Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки – вот кто может на них пожаловаться.

– Да и люди тоже.

– Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

– Это пустяки, вот собаки – те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?

– А мне больше нравился герцог Бордоский.

– А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

– Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

– И не говорите, мясники – это просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница.

– Да, сударыни, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

– Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

– Что правда, то правда, – угодливо согласилась тряпичница, – у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

– Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам в комнате. Тряпки убираю в корзину, огрызки – в лохань, простые лоскутья – в шкаф, шерстяные – в комод, бумагу – в угол под окном, съедобное – в миску, осколки стаканов – в камин, стоптанные башмаки – за двери, кости – под кровать.

Гаврош, остановившись сзади, слушал.

– Старушки! По какому это случаю вы завели разговор о политике? – спросил он.

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

– Еще один злодей тут как тут!

– Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?

– Скажите на милость, этакий негодник!

– Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, вместо возмездия ограничился тем, что всей пятерней сделал им нос.

– Ах ты, бездельник босопятый! – крикнула тряпичница.

Мамаша Патагон яростно всплеснула руками:

– Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, – уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в… в… – ну там, где этот теленок! – в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж, наверное, увижу на гильотине!

– Ты сопишь, старушенция, – заметил Гаврош. – Высморкай получше свой хобот.

И пошел дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог:

– Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал сзади крик; погнавшаяся за ним привратница Патагон издали погрозила ему кулаком и крикнула:

– Ублюдок несчастный!

– Плевать мне на это с высокого дерева, – ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он кликнул клич:

– Вперед, на бой!

Но его вдруг охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.

– Я иду биться, – сказал он, – а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек, Гаврош разжалобился.

– Бедненький мой тяв-тяв! – сказал он ему. – Ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.

Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.

Глава третья.
Справедливое негодование парикмахера

Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

– А как император держался на лошади? – спросил парикмахер.

– Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

– А хорошие у него были кони? Должно быть, прекрасные?

– В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

– Славная лошадка, – заметил парикмахер.

– Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать; потом заговорил снова:

– Император был ранен только раз, ведь правда, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал:

– В пятку. Под Ратисбоном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

– А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

– Я? – спросил солдат. – Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем – пулю в правую руку, другую – в левую ляжку под Иеной, под Фридландом – удар штыком, вот сюда, под Москвой – не то семь, не то восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец… Ах да, еще в битве под Ватерлоо меня ударило картечью в бедро. Вот и все.

– Как прекрасно умереть на поле боя! – с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. – Что касается меня, то, честное слово, вместо тою чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, постепенно, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро!

– У вас губа не дура, – заметил солдат.

Только успел он это сказать, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной. Парикмахер побледнел как полотно.

– О боже! – воскликнул он. – Это то самое!

– Что?

– Ядро.

– Вот оно, – сказал солдат и поднял что то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо парикмахерской, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать брадобрея по-своему и швырнул камнем в окно.

– Понимаете, – прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, – они делают пакости лишь бы напакостить! Кто его обидел, этого мальчишку?

Глава четвертая.
Ребенка удивляет старик

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и вступили в их отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера – ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом – два пистолета, высовывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера – старый кавалерийский мушкетон, у Баореля – карабин, Курфейрак размахивал тростью, из которой он вытащил клинок Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди и кричал – «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

– Куда мы идем?

– Иди с нами, – ответил Курфейрак. Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежников, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел запас слов, способных сокрушить все что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего. Потеряв голову от страха, прохожий крикнул:

– Красные пришли!

– Красные, красные! – подхватил Баорель. – Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, красная шапочка не внушает мне ужаса. Поверьте мне, буржуа: предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства – разрешение есть яйца, это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

– Паства! – воскликнул Баорель. – Это вежливая форма слова «стадо».

И сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

– Ты неправ, Баорель, – заметил Анжольрас. – Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

– У каждого своя манера, – возразил Баорель. – Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты вот весь пылаешь, хоть с виду и холоден, ну, а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег. А послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение. И он спросил его:

– Что это значит – «Геркулес?

– По-латыни это значит: черт меня побери, – ответил Баорель.

Тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому, одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

– Живо патронов! Para bellum![55]

– Красивый мужчина! Это верно, – сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа – студенты, художники, молодые люди, члены Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В толпе шел старик, с виду очень дряхлый. Оружия у него не было, но он старался не отставать, хотя, видимо, был погружен в свои мысли. Гаврош заметил его.

– Этшкое? – спросил он.

– Так, старичок.

То был Мабеф.

Глава пятая. Старик

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал папашу Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

– Господин Мабеф! Идите домой.

– Почему?

– Начинается суматоха.

– Отлично.

– Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.

– Отлично.

– Палить из пушек.

– Отлично. А куда вы все идете?

– Мы идем свергать правительство.

– Отлично.

И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки – он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо – как у спящего.

– Что за странный старикан! – перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.

Все это скопище вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

Вот луна поднялась в небеса

– Не пора ли? Ложится роса, —

Молвил Жан несговорчивой Жанне.

Ту, ту, ту

На Шату.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош – все мое богатство.

Чтобы клюкнуть, – не смейтесь, друзья! —

Встали до свету два воробья

И росы налакались в тимьяне.

Зи, за, зи

На Пасси.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош – все мое богатство.

Точно пьяницы, в дым напились,

Точно два петуха подрались. —

Тигр от смеха упал на поляне.

Дон, дон, дон

На Медон.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош – все мое богатство.

Чертыхались на все голоса.

– Не пора ли? Ложится роса, —

Молвил Жан несговорчивой Жанне.

Тен, тен, тен

На Пантен.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош – все мое богатство.

Они направлялись к Сен-Мерри.

Глава шестая.
Новобранцы

Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую, грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека.

Свернув на Стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрака.

– Это очень кстати, – сказал Курфейрак, – я забыл дома кошелек и потерял шляпу.

Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу и кошелек и захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

– Господин де Курфейрак!

– Привратница! Как вас зовут? – вместо ответа спросил Курфейрак.

Привратница опешила.

– Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

– Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело? Что такое?

– Здесь кто-то вас спрашивает.

– Кто такой?

– Не знаю.

– Где он?

– У меня, в привратницкой.

– К черту! – крикнул Курфейрак.

– Но он уже больше часа вас ждет, – заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский.

– Можно видеть господина Мариуса?

– Его нет.

– Вечером он вернется?

– Не знаю, – ответил Курфейрак и прибавил: – А я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

– Почему?

– Потому.

– Куда же вы идете?

– А тебе какое дело?

– Можно мне понести ваш ящик?

– Я иду на баррикаду.

– Можно мне пойти с вами?

– Как хочешь! – ответил Курфейрак. – Улица свободна, мостовые – для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная, каким образом, на улице Сен-Дени.

Книга двенадцатая
«Коринф»
Глава первая.
История «Коринфа» со времени его основания

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона I с надписью:

НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН

Однако они не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет назад.

Здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок «Коринф».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам позволено прибегнуть для ясности к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сен-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, приняв за вершину улицу Сен-Дени, а за основание – рынок, вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина – улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туаз, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени – с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников-с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, разной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной между фасадами домов тянулись подпиравшие их балки. Улица была узкая, а сточная канава – широкая; прохожие брели по мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто все это стерла.

Название Мондетур[56] точно соответствует своенравию улицы. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, находящейся поблизости от улицы Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог предположить, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, через которые он мог выбраться наружу. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим – с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого подобия тупика, на углу правого прохода, стоял дом ниже остальных, мысом выдававшийся на улицу.

В этом-то трехэтажном доме обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которому старик Теофиль посвятил двустишие:

Там качается страшный скелет —

То повесился бедный влюбленный.

Место для заведения было подходящее; заведение переходило от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет[57]. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда Восхищенный кабатчик изменил вывеску и велел под кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова – это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже не знал предания и приказал выкрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня – вот что представлял собой кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, вернее по лесенке, скрытой за незаметной дверью в большой зале второго этажа. Под крышей находились две каморки – приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, но вышел из него повар; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно – фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras[58]. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось:

Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубокомысленным советом.

Оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая лишь затмить Карема, он сравнялся с Горацием[59]. Поразительно также, что изречение означало еще: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринг Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, уже не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы уже упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантер. Он зашел туда, привлеченный надписью Carpe horas, и возвратился ради carpes au gras. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили, – здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка – забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И, тем не менее, мы настаиваем на том, что здесь всякого ожидал радушный прием. Чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга так: «Ну-ка пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать!» Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый.

В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. Вместе с ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшалась, она стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», – «из жалости», как говорил Боссюэ.

Тетушка Гюшлу была грузновата, страдала одышкой и любила предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Эти воспоминания благодаря ее произношению были свободны от слащавости. Она умела приправить остреньким свои размышления о весенней поре ее жизни, когда она жила в деревне. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярышника, и ничего мне на свете не нужно», – рассказывала тетушка Гюшлу.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; здесь же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.

В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.

Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,

И нос ее крючковатый провалится в черный рот.

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, очень похожая на свой портрет, написанный поэтом, с утра до вечера невозмутимо ходила мимо этих стихов. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами[60] помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатическим бледным лицом, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, если можно так выразиться – пораженная хронической усталостью, вставала первая, ложилась последняя, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной, усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

Коли можешь – угости,

Коли смеешь – сам поешь.

Глава вторая.
Чем кончилась веселая попойка

Легль из Мо, как известно, обретался главным образом у Жоли. Он находил жилье, так же, как птица – на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти Мюдикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром

5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был одет хорошо.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

– Устриц, сыру и ветчины, – приказал Легль.

Они сели за стол.

В кабачке, кроме них, никого больше не было.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк и чей-то голос произнес:

– Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантер.

Он взял табурет и сел за стол.

Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина.

Итого – три.

– Ты разве собираешься выпить обе бутылки? – спросил Грантера Легль.

– Тут все люди с умом, один ты недоумок, – ответил Грантер. – Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантер – с вина. Пол бутылки было живо опорожнено.

– Дыра у тебя в желудке, что ли? – спросил Легль.

– Дыра у тебя на локте, – отрезал Грантер и, допив стакан, прибавил:

– Да, да, Легль, орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старехонек.

– Надеюсь, – сказал Легль. – Мы живем дружно – мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье – это старый друг.

– Вод это правда! – вступив в разговор, воскликнул Жоли. – Сдарый сюрдук – все равдо, что сдарый друг.

– Особенно в устах человека с насморком, – согласился Грантер.

– Ты с бульвара, Грантер? – спросил Легль.

– Нет.

– А мы с Жоли видели начало шествия.

– Чудесдое зрелшще! – заметил Жоли.

– А как спокойно на этой улице! – воскликнул Легль. – Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список и аббат Лебеф тоже. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами… Их расплодилось видимо-невидимо.

– Не будем говорить о монахах, – прервал Грантер, – от этого хочется чесаться. Тут его вдруг как прорвало:

– Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек – двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она, презренное существо, была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт-символ любви, лавр-символ войны, оливу, эту глупышку, – символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу – эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите – право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума – наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Бренн взял Рим. После этого он воскликнул: Vae victis![61] Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже подирает!

Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантер выпил – ни он, ни его друзья как будто и не заметили этого, – и продолжал разглагольствовать:

– Бренн, завладевающий Римом, – орел; банкир, завладевающий гризеткой, – орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, – не важно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революция, живо! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, приводится в движение двумя двигателями: людьми и событиями. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий – революции. Чрезвычайные события – это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог – кометой. Трах! – и вот северное сияние, вот – революция, вот – великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки – Наполеон, наверху афиши – комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная

нежданными, сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Тут все в беспорядке – и светила и пьеса. Бог мой! Это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья! Провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция – что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская протерта до самой веревочной основы, чему свидетель – повесившийся принц Конде; видя, что зима – не что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер, видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы – этот поддельный жемчуг; видя инейэтот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я начинаю думать, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите: сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось. Вселенная только дразнит. Все равно, как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство – единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар – неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут бить друг другу морды, резать друг друга, и когда же? – в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!

После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

– Кстати, о революции, – сказал Жоли, – виддо Бариус влюблед по-датстоящему.

– А в кого, не знаешь? – спросил Легль.

– Дет.

– Нет?

– Я же тебе говорю – дет!

– Любовные истории Мариуса! – воскликнул Грантер. – Мне все известно заранее. Мариус – туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт – значит безумец. Timbroeus Apollo.[62] Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, – должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

– Не вы ли господин Боссюэ? – спросил он.

– Это мое уменьшительное имя, – ответил Легль. – Что тебе надо?

– Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» – «Да, – говорю я, – на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: „Азбука‟. Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

– Жоли! Дай мне взаймы десять су. – сказал Легль: потом повернулся к Грантеру: – Грантер! Дай мне взаймы десять су.

Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

– Благодарю вас, сударь, – сказал тот.

– Как тебя зовут? – спросил Легль.

– Наве. Я приятель Гавроша.

– Оставайся с нами, – сказал Легль.

– Позавтракай с нами, – сказал Грантер.

– Не могу, – ответил мальчик, – я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантер:

– Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен – нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар – котелком, гамен-булочник – колпачником, гамен-лакей – грумом, гамен-моряк – юнгой, гамен-солдат – барабанщиком, гамен-живописец – мазилкой, гамен-лавочник – мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец – пажом, гамен-король – дофином, гамен-бог – младенцем.

Легль между тем размышлял; потом сказал вполголоса:

– «Азбука», иначе говоря – «Похороны Ламарка».

– А высокий блондин – это Анжольрас, уведомивший тебя, – установил Грантер.

– Пойдем? – спросил Боссюэ.

– Да улице дождь, – заметил Жоли. – Я поклялся идти в огонь, до де в воду. Я де хочу простудиться.

– Я остаюсь здесь, – сказал Грантер. – Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.

– Короче, мы остаемся, – заключил Легль. – Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

– А, бятеж! Я за дего! – воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

– Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.

– Для меня она почти безразлична, ваша революция, – сказал Грантер. – Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укрощенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт – против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».

– Полдень сейчас или полночь? – вскричал Боссюэ. – Ничего не видно. Жиблота, огня!

Грантер мрачно продолжал пить.

– Анжольрас презирает меня, – бормотал он. – Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантер пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я бы с ним пошел. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи: одна – в медном позеленевшем подсвечнике, другая – в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа.

После полудня Грантер бросил пить вино – этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Опьянению сопутствует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантер был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка – это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров – пива, водки и абсента – ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа-этот небесный мотылек – тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры – Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Боссюэ и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. С важным видом опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и, обращаясь к толстухе Матлоте, произносил торжественную тираду:

– Да откроются ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

Повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

– О женщина античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя! А Жоли кричал:

– Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтеру. Од истратил субасшедшие дедьги. Од с утра уже прожрал с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!

А Грантер все вопил:

– Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?

Упившийся Боссюэ сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.

Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики – «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

– Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

– Строить баррикаду, – ответил Курфейрак.

– Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

– Правильно, Орел, – ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.

Глава третья.
На Грантера начинает опускаться ночь

Место действительно было указано превосходное: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, с первого этажа до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа.

– Боже мой! Боже мой! – вздыхала тетушка Гюшлу.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

– Курфейрак! Почебу ты без зодтика? Ты простудишься!

В течение нескольких минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски торговца известью Ансо; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными

кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота таскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, – словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

– Омнибусы, – сказал он, – не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum.[63]

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

– Светопреставление, – бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной, морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантеру:

– Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб – то бескодечдо изыскаддым.

Но Грантер продолжал покорять высоты дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся на второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

– Матлота безобразна! – кричал он. – Матлота – идеал безобразия. Матлота – химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу – старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи! Мы свалим правительство, – это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа! Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я, Грантер, – добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки – поцелуя любовника!

– Замолчи, пивная бочка! – сказал Курфейрак.

– Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! – с важностью ответил Грантер.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

– Грантер! – крикнул он. – Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду.

Эти гневные слова произвели на Грантера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал:

– Позволь мне поспать здесь.

– Ступай для этого в другое место! – крикнул Анжольрас.

Но Грантер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил:

– Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

– Грантер! Ты неспособен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

– Вот ты увидишь, – серьезно сказал Грантер.

Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжольрас.

Глава четвертая.
Попытка утешить тетушку Гюшлу

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

– Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

– Тетушка Гюшлу! Вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?

– Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!

– Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не очень ясно понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения «Отец! – сказала она – Ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» – «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два-три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили. что этими припасами снабдил их лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоявший против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах – Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая – улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих;

тридцать были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе, с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Один кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. И при этом какая разница в возрасте, какие разные лица у бледных подростков, у загорелых портовых рабочих! Все торопились и, помогая друг другу, говорили о надежде на успех, о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что поднимется весь Париж. То были страшные слова, к которым примешивалось сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали, как кого зовут. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.

На кухне развели огонь, в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсули и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившись от страха: одна – отупев, другая – избегавшись, третья – проснувшись, рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев, – трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу наладить дело. Он сновал взад и вперед, поднимался, спускался, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, – его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, – его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он никому не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку, – настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:

– Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада – это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

– Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

– Подумаешь, сам богатырь! – отпарировал Гаврош. – Застекленная дверь на баррикаде – превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду! Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Гавроша бесил его пистолет без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал:

– Ружье, дайте ружье! Почему мне не дают ружья?

– Ружье, тебе? – удивился Комбефер.

– Вот те на! – возмутился Гаврош. – А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

– Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

– Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

– Мальчишка! – крикнул Анжольрас.

– Молокосос! – не остался в долгу Гаврош.

Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание.

Гаврош крикнул:

– Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки-родины? Неужели нет желания ей помочь?

Щеголь поспешил скрыться.

Глава пятая.
Подготовка

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку при помощи четырех рядов камней, положенных один на другой и образовывавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек, – таким образом, выход был возможен. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

Малая баррикада Мондетур, скрытая за кабачком, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения, желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток

шагов в двадцать, таким образом баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи, меньше чем за час; перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в сторонке на столе у дверей, и его не тронули, оставив про запас.

Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратись в конце концов в однообразный шум, уже не привлекали внимания. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых: одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда, одни на этих страшных безлюдных улицах, одни, среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

Глава шестая.
В ожидании

Что делали они в часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные, с оружием в руках, наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

Ты помнишь ту пленительную пору,

Когда клокочет молодостью кровь

И жизнь идет не под гору, а в гору, —

Костюм поношен, но свежа любовь.

Мы не могли начислить даже сорок,

К твоим годам прибавив возраст мой

А как нам был приют укромный дорог,

Где и зима казалась нам весной!
Наш Манюэль тогда был на вершине,
Париж святое правил торжество,
Фуа гремел, и я храню доныне
Булавку из корсажа твоего.
Ты всех пленяла Адвокат без дела,
Тебя водил я в Прадо на обед
И даже роза в цветниках бледнела,
Завистливо косясь тебе вослед.
Цветы шептались «Боже, как прелестна!
Какой румянец! А волос волна!
Иль это ангел низошел небесный,
Иль воплотилась в девушку весна?»
И мы, бывало, под руку гуляем,
И нам в лицо глядят с улыбкой все,
Как бы дивясь, что рядом с юным маем
Апрель явился в праздничной красе.
Все было нам так сладостно, так ново!
Любовь! любовь! Запретный плод и цвет!
Бывало, молвить не успею слово,
Уже мне сердцем ты даешь ответ.
В Сорбонне был приют мой безмятежный,
Где о тебе всечасно я мечтал,
Где пленным сердцем карту Страсти нежной
Я перенес в студенческий квартал.
И каждый день заря нас пробуждала
В душистом нашем, свежем уголке.
Надев чулки, ты ножками болтала,
Звезда любви – на нищем чердаке!
В те дни я был поклонником Платона,
Мальбранш и Ламенне владели мной.
Ты, приходя с букетом, как Мадонна,
Сияла мне небесной красотой.
О наш чердак! Мы, как жрецы, умели
Друг другу в жертву приносить сердца!
Как, по утрам, в сорочке встав с постели,
Ты в зеркальце гляделась без конца!
Забуду ли те клятвы, те объятья,
Восходом озаренный небосклон,
Цветы и ленты, газовое платье,
Речей любви пленительный жаргон!
Считали садом мы горшок с тюльпаном,
Окну служила юбка вместо штор,

Но я простым довольствуясь стаканом,
Тебе японский подносил фарфор.
И смехом все трагедии кончались:
Рукав сожженный иль пропавший плед!
Однажды мы с Шекспиром распрощались,
Продев портрет чтоб раздобыть обед.
И каждый день мы новым счастьем пьяны,
И поцелуям новый счет я вел.
Смеясь, уничтожали мы каштаны,
Огромный Данте заменял нам стол.
Когда впервые, уловив мгновенье,
Твой поцелуй ответный я сорвал,
И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье, —
Как побледнев, я небо призывал!
Ты помнишь эти радости печали,
Разорванных косынок лоскуты,
Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,
Весь этот мир, все счастье – помнишь ты?

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий – все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, – мы о нем упоминали, – был чувствительным поэтом.

Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой – один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Этот свет придавал багрецу знамени зловещий кровавый отблеск.

Глава седьмая.
Человек, завербованный на Щепной улице

Наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, – тот занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами.

Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и сел за наименее освещенный стол. При распределении оружия ему досталось солдатское ружье крупного

калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально взглянул на него, потом, когда человек сел, мальчишка опять вскочил. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него па цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали издавна известные гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не… Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался па пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу-свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, поражен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош сделал важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему подошел Анжольрас.

– Ты маленький, – сказал Анжольрас, – тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

– Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим…

Подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы:

– Вы хорошо видите этого верзилу?

– Ну и что же?

– Это сыщик.

– Ты уверен?

– Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали за столом, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Анжольрас подошел к нему и спросил:

– Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. – Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно себе представить, и с высокомерным видом ответил:

– Я вижу, что… Ну да!

– Вы сыщик?

– Я представитель власти.

– Ваше имя?

– Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции, с оттиснутой вокруг надписью «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой – «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, Пятидесяти двух лет» и с подписью тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться путем особого розыска, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоявшему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал:

– Вот мышь и поймала кота.

Рабочие действовали так проворно, что когда о поимке сыщика узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так опутанный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

– Это сыщик, – сказал Анжольрас.

И, обернувшись к Жаверу, добавил:

– Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

Жавер с высокомерным видом спросил:

– Почему же не сейчас?

– Мы бережем порох.

– В таком случае прикончите меня ударом ножа.

– Шпион! – сказал красавец Анжольрас – Мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

– Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.

– Иду! – крикнул Гаврош.

Уже на пороге он сказал:

– Кстати, вы мне отдадите его ружье!

И прибавил:

– Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик с сияющим лицом отдал честь по-военному и юркнул в проход большой баррикады.

Глава восьмая.

Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не звался Кабюком

Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения, сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического, чудовищного ужаса случай, происшедший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кабюком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом; этот стол они вытащили из кабачка. Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

– Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда – черта с два! – никто не пройдет по улице!

– Да, но дом заперт, – возразил один из его собутыльников.

– А мы постучимся.

– Не откроют.

– Высадим дверь!

Кабюк бежит к двери, возле которой висит увесистый молоток, и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ ни звука.

– Есть тут кто-нибудь? – кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, – настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

– Что вам угодно, господа? – спросил привратник.

– Отворяй! – потребовал Кабюк.

– Это невозможно, господа.

– Отворяй сейчас же!

– Нельзя, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

– Ты отворишь? Да или нет?

– Нет, господа!

– Ты говоришь – нет?

– Я говорю, – нет, милостивые…

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и

потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.

– Так! – сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

– На колени!

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

– На колени! – повторил он.

Властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой.

Бледный, с голой шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении древнего мира, должно было быть у правосудия.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль; то, что им предстояло увидеть, было так страшно, что никто из них не мог вымолвить ни слова.

Поверженный Кабюк не пытался отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.

– Соберись с духом, – сказал он. – Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

– Пощадите! – пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, корчась и воя, жался к его коленям, приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом толкнул ногою труп и сказал:

– Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

– Граждане! – сказал Анжольрас. – То, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, – ужасно. Он убил – вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь – большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

– Мы разделим твою участь, – крикнул Комбефер.

– Пусть так, – ответил Анжольрас. – Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость – чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь! За тобой – будущее! Смерть! Я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане! В будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни Сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать, земля будет сиять, род человеческий – любить. Граждане! Он придет, этот день, когда все будет являть собой согласие, гармонию, свет, радость и жизнь, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.

Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа, казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец – тьмою.

Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.

Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

Книга тринадцатая

Мариус скрывается во мраке

Глава первая.

От улицы Плюме до квартала Сен Дени

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай, он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянью, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал себе. «Пойдем!».

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после двух месяцев упоения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел одного – скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были пистолеты Жавера, – он был вооружен.

Молодой человек, которого он увидел мельком, скрылся из виду где-то на повороте.

Мариус, перейдя с улицы Плюме на бульвар, прошел эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины что-то покупали в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, в английской кондитерской – пирожки. Несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того, как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» – неподвижные, мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из сгрудившихся людей, которые тихонько переговаривались. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп, – всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто словно бы не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. За этой толщей на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегавшие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдие, молчание, ночь; непонятный, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб.

Он продвигался вперед.

Вот он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог бы на это ответить. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начата и покинута баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по ту сторону заграждения. Он шел у самых тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади, – те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад по улицам и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которым в такой же мере понятны действия человека, в какой человеку – пути провидения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.

Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. А потом уже ничего больше не происходило.

Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.

И все же Мариус шел вперед.

Глава вторая.
Париж – глазами совы

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна – это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал всюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех средств, какими она располагает, – вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни обитатель. Вот почему все замерло там. В домах царили страх, печаль и оцепенение; на улицах – священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные, причудливые линии, очертания странных сооружений: то были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и еще несколько громадных зданий, которые человек создает в виде гигантов, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горели редкие фонари, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, усиливавшееся с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.

Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым углом – невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Этого никто не мог бы сказать. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. И для тех и для других это было одинаково необходимо. Отныне оставался один исход – выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые – ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание переросло в революцию или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздиравший сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалобно сетующего со мгле.

Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы – во имя принципов, а средний класс – во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока все торопили и призывали последний и решительный час, – вдали и вне рокового квартала, в бездонных глубинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотанье сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предостерегает мудрых, который одновременно звучит снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

Глава третья.
Последний рубеж

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок Мондетур.

Немного дальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывавшего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, с трудом различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать всего один шаг.

Несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы, – ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, – и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняй других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисавшей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давившей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся со шрамами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, сделав для Франции все, а против нее, – ничего.

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он тоже должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы – улица, а эта война – война гражданская.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

И тут он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и которую ему было так жаль. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину, что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти па улицу Шанврери и, после подвигов, свершенных вместе с отцом, свершать вместе с сыном иной подвиг не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, взяв ее с изголовья умершего отца, он осмелился бы принести ее с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла! Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть отданной в лом, чем обагрять кровью грудь отечества.

Мариус горько заплакал.

Все это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоящую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить,

предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то непонятной внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них у него был теперь готов ответ.

Поразмыслим – отчего отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание дышит таким же благородством, как исполняемый долг? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, не Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми – не война между братьями? Война определяется ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое всечеловеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, – будь она гражданской или против иноземцев, – равно несправедлива, и имя ей – преступление. При священном условии справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, – который из них более велик? Один – защитник, другой – освободитель. Можно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? А что же тут такого? Ведь такова война Амбиорикса, Артивелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров; все – против внешнего врага. Так вот, монархия-это и есть внешний враг; угнетение – внешний враг; «священное право» – внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. Скованный Прометей начинает, Аристогитон заканчивает. Энциклопедия просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила – Фразибул; после Дидро – Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, бросать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были ослеплены идеей собственного спасения; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее темное торжество ночи во всем его великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы считаете, что Луи-Филипп – тиран? Такой же, как Людовик XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины – не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено; Людовик XVI

воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, потому что он Бурбон; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную справедливость, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество вровень с правом, – какое дело может быть более правым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить под Аустерлицем – великий подвиг; взять Бастилию – величайший.

Нет человека, который не знал бы по опыту, что душа – и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, – обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное горе любви, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика; нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. В таком состоянии находился Мариус.

Одолеваемый этими мыслями, изнеможенный, то полный решимости, то колеблющийся, трепещущий перед тем, на что он решался, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не уходившие с постов люди, и в их голосах чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал не то зрителя, не то наблюдателя, как-то особенно внимательного. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Нельзя себе представить более необычное зрелище, чем это озаряемое колышущимся зловещим пламенем, словно из любопытства наклонившееся над улицей иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо, вставшие дыбом волосы, открытые, остекленевшие глаза и разинутый рот. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась длинная кровяная дорожка и обрывалась на втором этаже.

Книга четырнадцатая
Величие отчаяния
Глава первая.
Знамя. Действие первое

Пока никто еще не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять. Анжольрас и Комбефер сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой, отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий, молодой, веселый голос, казалось, доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

Друг Бюго, не спишь ли?

Я от слез опух

Ты жандармов вышли

Поддержать мой дух.

В голубой шинели,

Кивер на боку

Пули засвистели!

Ку-кукурику!

Они сжали друг другу руки.

– Это Гаврош, – сказал Анжольрас.

– Он нас предупреждает, – добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

– Где мое ружье? Они идут! Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох – это руки нащупывали ружья.

– Хочешь взять мой карабин? – спросил мальчика Анжольрас.

– Я хочу большое ружье, – ответил Гаврош и взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один – стоявший на посту в конце улицы, другой – дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, – очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свой боевой пост.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицел, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.

Опять наступило молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, – казалось, заговорила сама тьма, – крикнул:

– Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

– Французская революция! – взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

– Огонь! – скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

– Товарищи! – крикнул Курфейрак. – Не будем зря тратить порох. Подождем, пока они не продвинутся.

– И, прежде всего, поднимем снова знамя! – добавил Анжольрас.

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов; отряд перезаряжал ружья.

– У кого из вас хватит отваги? – продолжал Анжольрас. – Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел, – попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил!

– Никто не возьмется?

Глава вторая.
Знамя. Действие второе

С тех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на Мабефа. Однако Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся за стойкой. Там он как бы погрузился в себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности и предлагали удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его, он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» – старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:

– Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Может быть, Мабеф этого не слышал.

Он направился прямо к Анжольрасу, – повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, – вырвал знамя у Анжольраса, – тот попятился и окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец с трясущейся головой начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали:

– Шапки долой!

То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, лицо старика, огромный облысевший, морщинистый лоб, впалые глаза, полуоткрытый от удивления

рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов. Казалось, призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, непостижимый вид.

Стало так тихо, как бывает только при лицезрении чуда.

Старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

– Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!

Слуха осажденных достигла скороговорка, произнесенная тихим голосом, похожая на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, это полицейский пристав с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?», крикнул:

– Разойдитесь!

Мабеф, мертвенно бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

– Да здравствует Республика!

– Огонь! – скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старое, бледное, печальное лицо было обращено к небу.

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу.

– Что за люди эти цареубийцы! – воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

– Скажу только тебе – я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца! Я был с ним знаком. Его звали папаша Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.

– Голова скудоумного, а сердце Брута, – заметил Анжольрас и возвысил голос:

– Граждане! Старики подают пример молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп. Пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул грозных и решительных голосов, выражавший согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, все такой же строгий, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и осторожно дотрагиваясь до мертвеца, словно боясь причинить ему боль, снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

– Отныне вот наше знамя.

Глава третья.

Лучше, если бы Гаврош согласился взять карабин Анжольраса

Папашу Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них мертвое тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли в нижнюю залу и положили на большой стол.

Эти люди, всецело поглощенные своим важным и священным делом, уже не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо по-прежнему невозмутимого Жавера, Анжольрас сказал шпиону:

– Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался на дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас же крикнул:

– Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни – перелезая через омнибус, другие – воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, а тот отступал, но не бежал.

Мгновение было решительное. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается вровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор. Второй заколол Баореля штыком. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, с решительным видом нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

Это стрелял Мариус, только что появившийся не баррикаде.

Глава четвертая.
Бочонок с порохом

Скрываясь за углом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мабефа – эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, – все это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но за него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз, в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука охватила конец дула и закрыла его. Это

был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю валу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает перед ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно чувствует, что этот вихрь увлекает его в еще более глубокий мрак и что вокруг него все в тумане.

Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул:

– Подождите! Не стреляйте наугад!

Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, – чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, взмахнул шпагой и крикнул:

– Сдавайтесь!

– Огонь! – ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие.

Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

– Прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос.

Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, затем, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, – все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь все – национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом.

– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду! – грозно воскликнул он.

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

– Взорвешь баррикаду? – крикнул сержант. – Значит, и себя вместе с ней!

– И себя вместе с ней! – ответил Мариус.

И приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство.

Баррикада была освобождена.

Глава пятая.
Конец стихам Жана Прувера

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

– Ты здесь?

– Какое счастье! – воскликнул Комбефер.

– Ты пришел кстати! – заметил Боссюэ.

– Без тебя меня бы уже не было на свете! – вставил Курфейрак.

– Без вас меня бы ухлопали! – прибавил Гаврош.

– Кто тут начальник? – спросил Мариус.

– Ты, – ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада, Мабеф, умерший за Республику, он сам во главе повстанцев – все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.

В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.

Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; студенты медицинского факультета перевязывали раненых.

Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На тюфяки положили раненых, что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе.

Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады.

Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных – Жана Прувера. Поискали среди раненых – его не было. Поискали среди убитых – его не было. Очевидно, он попал в плен.

Комбефер сказал Анжольрасу:

– Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

– Да, – ответил Анжольрас, – но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

– Отлично, – произнес Комбефер, – я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными.

– Слушай? – положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжольрас.

В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.

Послышался звонкий голос:

– Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера.

Мелькнула молния, и грянул залп.

Снова наступила тишина.

– Они его убили! – воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

– Твои же друзья тебя расстреляли.

Глава шестая.

Томительная смерть после томительной жизни

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может, опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Вот почему все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая была в большей степени под угрозой и где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда! Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, на улице Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо окликнул его:

– Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа назад сквозь решетку на улице Плюме.

Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что у него разыгралось воображение от тех необыкновенных событий, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, намереваясь выйти из того закоулка, где находилась баррикада.

– Господин Мариус! – повторил голос.

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

– Я здесь, у ваших ног, – произнес голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное поднятое к нему лицо и услышал слова:

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

– Эпонина.

Мариус нагнулся. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

– Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

– Я умираю, – ответила она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись.

– Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпонина слабо вскрикнула.

– Я сделал вам больно? – спросил Мариус.

– Чуть-чуть.

– Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

– Что с вашей рукой? – спросил он.

– Она пробита!

– Пробита?

– Да.

– Чем?

– Пулей.

– Каким образом?

– Вы видели наведенное на вас ружье?

– Да, и руку, закрывшую дуло.

– Это была моя рука.

Мариус содрогнулся.

– Какое безумие! Бедное дитя! Но это еще счастье! Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

– Пуля прострелила руку, но вышла через спину, – прошептала Эпонина. – Не стоит брать меня отсюда! Я вам сейчас скажу, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

– О, как хорошо! Как приятно! Вот уже и не больно!

Помолчав, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса:

– Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, – это глупо, потому что я сама показала вам дом, а, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы…

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо, промелькнувшие в ее головке, снова заговорила с той улыбкой, от которой сжимается сердце:

– Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, – продолжала она, – вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ждала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь не богаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.

У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздиравшее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Говоря, она прижимала к ней простреленную руку, – в том месте, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на несчастную девушку.

– Ох! – внезапно простонала она. – Опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался пронзительный петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал песенку, которая в то время пользовалась большой известностью:

Увидев Лафайета,

Жандарм не взвидел света;

Бежим! Бежим! Бежим!

Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

– Это он.

И, повернувшись к Мариусу, добавила:

– Там мой брат. Он меня не должен видеть. Он будет меня ругать.

– Ваш брат? – спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. – Кто ваш брат?

– Этот мальчик.

– Тот, который поет?

– Да.

Мариус хотел встать.

– Не уходите! – сказала она. – Теперь уж недолго ждать!

Она приподнялась, но ее голос все-таки был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и сказала с каким-то странным выражением:

– Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили послать его по почте. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, – казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус нащупал там какую-то бумагу.

– Возьмите, – сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

– Теперь обещайте мне за мой труд…

Она запнулась.

– Что? – спросил Мариус.

– Обещайте мне!

– Обещаю.

– Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпонина не шевелилась. Внезапно, когда уже Мариус решил,

что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, исходившей, казалось, уже из другого мира:

– А знаете, господин Мариус, мне думается, я была немножко влюблена в вас.

Она еще раз попыталась улыбнуться и умерла.

Глава седьмая.
Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать письмо возле умершей.

Он подошел к свече в нижней зале. Это была записочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука:

«Господину Мариусу Понмерси, кв г-на Курфейрака, Стекольная улица, э 16».

Он сломал печать и прочел:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, э 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта, 4 июня».

Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла решение: во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это от нее Жан Вальжан получил на Марсовом поле серьезное предупреждение: Переезжайте. Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте: «Сегодня вечером мы переезжаем на улицу Вооруженного человека, вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, не привыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо и сказала: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Пятого июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», – это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака – опять-таки чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и увидела, где строится баррикада. Мариус ничего не подозревал, – письмо Эпонина носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет. Мариус, как всегда, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом, в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым

сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть – лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прости, и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.

При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения моего деда, он отказал; у меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя! Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:

«Мадмуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, э7».

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, э 6, в Маре».

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчугана.

– Хочешь сделать кое-что для меня?

– Все что угодно, – ответил Гаврош. – Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка!

– Видишь это письмо?

– Вижу.

– Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадмуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

– Ну хорошо, но… за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет! – возразил маленький герой.

– По всем признакам, баррикаду атакуют не раньше чем на рассвете, и возьмут не раньше, чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

– Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? – спросил Гаврош.

– Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся, что ответить и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.

– Ладно! – сказал он и пустился бегом по Мондетуру.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел, что ему возразить.

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».

Книга пятнадцатая

Улица вооруженного человека

Глава первая.

Бювар-болтун

Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрагался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и в Париже: «Две силы, дух света и дух тьмы, схватились на мосту над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

4 июля вечером Жан Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз, с тех пор как они стали жить вдвоем, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Они прибыли на улицу Вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова; каждого одолевали свои заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.

Жан Вальжан взял с собой Туеен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю, детальное меня не касаемо».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики – это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.

Спать легли молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение

Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имелась вся необходимая домашняя утварь.

Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству, – такова человеческая природа. Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой среди шумного города, сумрачной среди бела дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Козетта велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда Тусен несколько раз, заикаясь, говорила Жану Вальжану:

– Сударь! Крик-шум кругом, в Париже дерутся.

Но, поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа.

Но вместе с тем его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, – все это пройдет через день или два – он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую – все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, – эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его

прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит она принадлежит ему; то был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.

Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, э 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня.»

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, забыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением: строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой на» стоящий смысл, перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал себе: «это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре: опрокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. И тут он подумал – «Но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано», – и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало – повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление – уже реальность; это было очевидно, это было письмо, верно восстановленное зеркалом. Он все понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!

Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану, раньше чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед

чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким; можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает.

Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы! Величайшее испытание, вернее, единственное испытание – это утрата любимого существа.

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец, но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа – это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому любовь к женщине, наиболее стойкое из всех чувств, смутное, слепое, чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неощутимое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, спрятанной и нетронутой в недрах горы.

Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный, и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени – светло-зеленых и темно-зеленых, – какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге, – как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующей которого являлась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась мать; отец любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде; когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я – только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» – скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, – и вот итог! Как же так? Оказывается, он – ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, «я» зарычало в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми

строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, – такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало – страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть – все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния – это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца: ведь это подлость – строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит!

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, – этот юноша и что он – источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастия обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак – Ненависть.

Великая скорбь подавляет. Она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже – зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль – впереди, когда вы полны жизненной силы, даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

– Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен спросила:

– Что вам угодно?

– Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

– Ах да! – ответила Тусен. – В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжал через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

Глава вторая.
Гаврош – враг освещения

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома э 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния – замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Покрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; набат – дело рук человеческих, время – дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, затем снова – еще более оглушительный; вероятно, началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою.

Вдруг он поднял глаза, – по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и, при свете фонаря, у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал.

Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

– Черт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.

– Малыш! – сказал он. – Что тебе надо?

– Мне надо поесть, – откровенно признался Гаврош и прибавил; – Сами вы малыш.

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежащий к породе трясогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.

– Смотрите! – сказал он. – У вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило!

Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

– Так, так, старушка-улица, – одобрил Гаврош, – надевай свой ночной колпак – И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил:

– Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду – вот было бы славно!

Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

– Бедняжка! Он хочет есть, – пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету.

Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко.

– Поглядим-ка на этого тигра! – сказал он.

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал:

– Буржуа! Я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

– У тебя есть мать? – спросил Жан Вальжан.

– Уж скорей, чем у вас, – не задумываясь, ответил Гаврош.

– Тогда возьми эти деньги для матери, – сказал Жан Вальжан.

Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

– Вправду? – спросил он. – Это не для того, чтобы я не бил фонари?

– Бей, сколько хочешь.

– Вы славный малый, – заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман.

Доверие его возросло, и он спросил:

– Вы живете на этой улице?

– Да, а что?

– Можете мне показать дом номер семь?

– Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

– Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения.

– Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду? – спросил он.

– Вам? – сказал Гаврош. – Вы не женщина.

– Письмо адресовано мадмуазель Козетте, не так ли?

– Козетте? – проворчал Гаврош. – Как будто там так и написано. Смешное имя!

– Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо, – объявил Жан Вальжан. – Давай его сюда.

– В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

– Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу. Затем он взял под козырек.

– Почет депеше, – сказал он. – Она от временного правительства.

– Давай, – сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

– Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретики всяким дурищам.

– Давай.

– Право, вы, кажется, славный малый, – продолжал Гаврош.

– Давай скорей.

– Нате.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

– И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остротой.

– Куда отнести ответ? – спросил Жан Вальжан. – К Сен-Мерри?

– Ну и ошибетесь немножко! – воскликнул Гаврош. – Как говорится, пирожок – не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин!

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

Глава третья.
Пока Козетта и Тусен спят…

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса.

Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада несколько спичек, прежде чем он зажег одну, – так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно, лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«…Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя…»

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с изумлением пьяного; ему представилось великолепное зрелище-смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в

лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете, но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим – он между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться, – думал он. – Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе это, он помрачнел.

Затем спустился вниз и разбудил привратника.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

Глава четвертая.
Излишний пыл Гавроша

Тем временем с Гаврошем произошло приключение.

Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. И он пошел вдоль заснувших или напуганных домов, оделяя каждый зажигательным куплетом:

Злословил дрозд в тени дубравы:
«Недавно с девушкой одной
Какой-то русский под сосной…»
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Дружок Пьеро, ну что за нравы, —
Ты, что ни день, всегда с другой!
К чему калейдоскоп такой?
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Подчас любовь страшней отравы!
За горло нежной взят рукой,
Терял я разум и покой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
О, где минувших дней забавы!
Лизон играть хотела мной,
Раз, два… и обожглась игрой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Когда Сюзетта – боже правый! —
Метнет, бывало взгляд живой,

Я весь дрожу, я сам не свой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Я перелистываю главы:
Мадлен со мной в тиши ночной,
И что мне черти с сатаной!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Но как причудницы лукавы!
Приманят ножки наготой —
И упорхнут… Адель, постой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Бледнели звезды в блеске славы,
Когда с кадрили, ангел мой,
Со мною Стелла шла домой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест-точка опоры для припева. Он корчил страшные рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.

Внезапно он остановился.

– Прервем романс, – сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря – некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо – спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу.

Это был возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи, – подумал Гаврош. – Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его осенила блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

Тележка была свободна.

Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, изъятый у какого-то плотника.

Он написал:

«Французская республика. Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош»

Потом засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, празднуя победу, пустился во всю прыть с грохочущей тележкой в сторону Центрального рынка. Это было опасно. Возле Королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд зашевелился, на походных койках поднимались головы. Два битых фонаря, песенка, распеваемая во все горло, – этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уличный мальчишка уже с час бесновался в этой мирной округе подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения сержанта и вынудил его произвести расследование.

– Их тут целая шайка! – воскликнул он. – Пойдем посмотрим, только тихонько.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

Сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

У самого поворота с улицы Вьейль-Одриет Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Гаорош опять остановился.

– Смотри-ка, – удивился Гаврош, – он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок!

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

– Ты куда идешь, оборванец? – крикнул сержант.

– Гражданин! – сказал Гаврош. – Я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?

– Ты куда идешь, шалопай?

– Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания, – ответил Гаврош.

– Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

– У вас очень милая манера выражаться. Право, вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

– Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

– Какие скверные слова! – заметил Гаврош. – В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

– Да скажешь ты, наконец, куда идешь, злодей?

– Господин генерал, – ответил Гаврош, – я ищу доктора для моей супруги, она рожает.

– К оружию! – крикнул сержант.

Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, – верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух.

На крик сержанта высыпали солдаты; каждый выстрелил по разу наугад, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба продолжалась добрых четверть часа; пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам.

Тем временем Гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улиц за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу, на углу улицы Красных сирот.

Он прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Этот выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так, – подумал он, – я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюку. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»

Он пошел дальше.

«Ах да, на чем же это я остановился?» – постарался припомнить он на бегу.

И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало:

Скосило время нас, как травы,

Но тверд иных бастилий строй.

Друзья, долой режим гнилой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Сразимся в кегли для забавы!

Где шар? Один удар лихой —

И трон Бурбонов стал трухой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Бледнея, в Лувре ждут расправы.

Народ, монархию долой!

Мети железною метлой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Решетки не задержат лавы!

Ах, Карл Десятый, срам какой,

Летит за дверь – и в грязь башкой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Вооруженное выступление караула оказалось небезрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом, как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа Маре, и запечатлелось оно в их памяти следующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».

Примечания

1

Дитя *(лат.)*

2

Человечек *(лат.)*

3

Мальчик из рабочей семьи, житель парижских предместий. *(Прим. авт.)*

4

Вертится колесо *(лат.)*

5

Любитель столицы *(лат.)*

6

Любитель села *(лат.)*

7

Се Париж, се человек *(лат.)*

8

Грек (презрительно) *(лат.)*

9

Щеголь *(исп.)*

10

Носильщик *(арабск.)*

11

Спешу я. Кто за плащ хватает? *(лат.)* – из комедии Плавта «Эпидик».

12

«Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра – значит забывать о мятеже» *(лат.)*

13

Да будет свет *(лат.)*

14

Подонки столицы *(лат.)*

15

Чернь *(англ.)*

16

Да будут леса достойны консула *(лат.)*

17

Да почиют *(лат.)*

18

В иноверческой стране *(лат.)*

19

По-французски слово «азбука» (A Б C) звучит, как abaisse – униженный, обездоленный.

20

Кастрат у лагерного костра *(лат.)*

21

Варвары и Барберини *(лат.)*

22

Фуэрос – особые права некоторых средневековых испанских городов; фуэгос – огни *(исп.)*

23

…ты Петр, и на сем камне <Я создам церковь Мою…> (Евангелие от Матфея, XVI, 18). Петр – по-гречески – камень.

24

Человек и муж *(лат.)*

25

Неизменность *(лат.)*

26

Как состязающиеся в беге *(лат.)* – Лукреций, О природе вещей.

27

Л'Эгль (l'aigl)-по-французски – орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе.

28

По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) – крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на своих четырех „л“, то есть: „Не улети на своих четырех крыльях“.

29

Прописная буква Р по-французски – грант эр (grand R).

30

Учитесь, судьи земли *(лат.)*

31

Начало познания *(лат.)*

32

Быстро бегущего *(лат.)*

33

Если потребует обычай *(лат.)*

34

Время – деньги *(англ.)*

35

Хлопок – король *(англ.)*

36

Ибо ношу имя льва *(лат.)*

37

Тяготы жизни *(лат.)*

38

И стал свет *(лат.)*

39

Преисподняя *(лат.)*

40

Флейтщицы, нищие мимы, шуты, лекаря площадные *(лат.)* – стих из «Сатир» Горация.

41

Если двое встречается с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» *(лат.)*

42

Могучий *(лат.)*

43

Среди листьев и ветвей *(лат.)*

44

Эшафот. *(Прим. авт.)*

45

Лень *(лат.)*

46

«Последний день приговоренного к смерти». *(Прим. авт.)*

47

Но где снега минувших лет? *(франц.)*

48

Шесть крепких лошадей тащили экипаж *(франц.)*

49

Однако следует заметить, что mac – по-кельтски обозначает сын. *(Прим. авт.)*

50

Lirlonfa – свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.

51

Купидона *(Прим. авт.)*

52

Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. *(Прим авт.)*

53

Стих, порожденный возмущением *(лат.)*. Ювенал, Сатира, I.

54

душе *(итал.)*

55

bellum – готовься к войне *(лат.)*. Произношение belium *(лат.)* – война – сходно с bel homme *(франц.)* – красивый мужчина.

56

Мондетур – в буквальном переводе с французского значит – гора-извилина.

57

aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб)

58

Скоромными карпами *(франц.)*

59

Carpe horas *(лат.)* – лови часы – напоминает известную строчку Горация Carpe diem – лови день.

60

Matelote (матлот) – рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) – фрикасе из кролика.

61

Горе побежденным! *(лат.)*

62

Тимбрейский Аполлон *(лат.)*

63

Не всем дано достигнуть Коринфа *(лат.)* – античная поговорка.